
ИЛЛЮМИНАТОР
Берил Бейнбридж
Мастер Джорджи
Beryl Bainbridge
Master Georgie

Мастер Джорджи
Берил Бейнбридж

Аннотация
Берил Бейнбридж. Мастер Джорджи
Пластинка первая. 1846 г. Девушка перед лицом смерти
Пластинка вторая. 1850 г. Пелена спадает
Пластинка третья. 1854 г. Превратности войны на водах Европы
Пластинка четвертая. Август 1854 г. Концерт в Варне
Пластинка пятая. Октябрь 1854 г. Похоронная процессия под сенью Беатрис
Пластинка шестая. Ноябрь 1854 г. Улыбаемся, улыбаемся, братцы

Аннотация

Действие романа «Мастер Джорджи происходит в Англии середины прошлого столетия и завершается на полях Крымской войны 1853—1856 гг., куда ход событий заносит четырех англичан. Война, изображенная во всей своей бесчеловечности, служит фоном для главного: в своем знаменитом прихотливо-выверенном стиле Бейнбридж рассказывает о странностях любви, жестокости судьбы, верности и благородстве.

Берил Бейнбридж
Мастер Джорджи

Посвящается Мику и Парвин Лоуренс

Пластинка первая. 1846 г
Девушка перед лицом смерти

Мне двенадцать было, когда мастер Джорджи мне в первый раз приказал замереть и не мигать. Голова у меня была вровень с подушкой, он велел положить руку мистеру Харди на плечо; и меня, от кончиков пальцев, всю прошибло холодом через его рубашку, белую, полотняную. День был субботний, праздник, Успенье, и чтобы вдруг не затрепыхались веки, я воображала, что, если сморгну, Господь меня поразит слепотой, вот почему у меня получился такой запуганный вид. Мистеру Харди никто не приказывал замереть, он и так был мертвый.

Вот я говорю — двенадцать, но точно я не знаю. Не знаю своей матери, никого не помню, и дня рождения у меня никогда не бывало, пока семья Харди меня не взяла к себе. По словам мастера Джорджи, меня нашли лет девять назад в одном подвале на Крутой, я сидела рядом с мертвой женщиной, и горло ей сглодали крысы.

У меня не было имени, и меня назвали Миртл — Миртовой называлась улица потому что, где

стоит сиротский приют. А меня собирались туда определить, и так бы оно и вышло, не разразись оспа. И тут один деловой господин из Ливерпульского медицинского комитета, знакомый мистеру Харди, сказал, чтоб он меня призрел, пока не кончится эпидемия. А когда она кончилась и мне время было съезжать, мисс Беатрис стала реветь, так она ко мне прикипела. Любовь прошла через год, когда мистер Харди завел собаку, но тут уж меня приспособила миссис О'Горман, меня и оставили.

Мне жилось хорошо, миссис Харди учила меня читать, мистер Харди потреплет, бывало, по подбородку, спросит, как дела. Иной раз даже позволяли играть с мастером Фредди, пока он в школу не уехал. И порола-то меня одна только миссис О'Горман, и то для моей же пользы. Никто меня не любил, а я и рада; так сердце мое не тратилось понапрасну и билось для одного лишь мастера Джорджи.

Я совсем не помню, как меня нашли. Мастер Джорджи когда-то сказал, что, если очень сильно сосредоточиться, память вернется, как на его фотографических пластинках проступает изображенье. Я перепугалась — он же такие дива чудные творил в темноте, — и бывало, это уж после того,

как он меня надоумил, проснусь от того, что лист шуршит в канаве, лежу и воображаю, как вот-вот жуткая картинка отпечатается на оконном стекле. Миссис О'Горман, бывало, заметит круги у меня под глазами, выпытает причину и объявит, что опять негодяй мальчишка разным вздором меня дурил.

Сходила я два раза к тому дому на Крутой, сходила, постояла у забора. Подвал затопляло, и окна были такие грязные, что не заглянешь.

Тот памятный сырой вечер в августе — который так удивительно кончился — начался с того, что на миссис Харди опять нашло. Меня призвали заняться тигровой шкурой. Опять пес наведывался в столовую, и миссис О'Горман шуганула меня наверх, чтоб я его серую шерсть вычесала с этих проклятых полосок. Мастер Джорджи и миссис Харди сидели по разным концам обеденного стола.

Тигра этого я не терпела: челюсти разинуты, а, в отличие от мистера Харди, век у него не было, так что он вылупил глаза. Миссис Харди ненавидела ковер не меньше моего, но совсем по другой причине. Мистер Харди божился, что самолично уложил зверя в Мадрасе в ту пору, когда там надзирал за оросительными работами. Но это

была наглая ложь, и миссис Харди не раз под горячую руку вдребезги ее разбивала: шипела, что он купил эту пакость на аукционе и самолично приволок на закорках домой.

Шкура лежала у стеклянных дверей, которые смотрели на двор и дальше на сад, так что я была спиной к столу, когда миссис Харди сказала:

— Джорджи, мальчик, ты же не пойдешь сегодня на твои эти занятия, правда?

Он признал, что да, не пойдет.

— Но ты, конечно, уйдешь по делам.

Хоть и маленькая, а я почуяла, что это скорей обвинение, чем догадка. Щетка у меня застыла в руке. Я боялась миссис Харди, она так таращилась. Часто даже губы у нее улыбались, но это совсем не потому, что ей весело. Но она меня все равно спасла, выучила грамоте, и мне было жалко, когда она огорчалась. Я уставилась на сливовые деревья в саду. Мисс Беатрис кружилась под гнилыми круглыми сливами. Толстый доктор Поттер таскался за ней, задрав лицо к облакам.

Я услышала, как мастер Джорджи говорит:

— Да нет, отчего по делам, мама. Просто мне надо встретиться с Уильямом Риммером.

— Ну разумеется, — сказала она. — Вечно вас, мужчин, ждут приятели… или дела неотложные.

Была долгая минута молчанья, и в тишине постукивало что-то. Я развернулась на корточках, якобы принялась за костлявую голову тигра. Миссис Харди вилкой пронзала еду на тарелке, и глаза ей переполняла и распирала тоска; соус брызгал на скатерть. Мастер Джорджи мне объяснял, что подобный взгляд развивается на почве расстройства щитовидки, это железа такая, которая у всех у нас есть, только у миссис Харди она стала расти. Ну а тоска развивалась исключительно на почве мужа; миссис Харди была заброшенная жена. Мистер Харди обещал прийти в полдень, а было уже пять минут четвертого на каминных часах.

Мастер Джорджи встал и наклонился, чтобы поцеловать свою мать в щечку. Она увернулась, и он недовольно хмыкнул.

— Пожалел бы ты меня, — простонала она. — Помоги мне, сама я не справлюсь.

— Но я не знаю, чем я могу помочь вам, мама, — сказал он, и его виновато поникшие плечи меня прямо резанули по сердцу.

Обычно, когда она бывала не в себе, он предлагал ей остаться, и почти всегда она отвечала — ну зачем же, какие глупости. А тут он ни слова не вымолвил. Просто стоял смотрел на это залитое слезами лицо. Она больше им помыкала, чем

мастером Фредди или мисс Беатрис. Он был у нее первенец, вот почему, наверно; и ее всю распотрошили, пока он не выскочил. Это мне миссис О'Горман рассказала. Конечно, он ее любил по-прежнему, но детские дни, когда он мог постоянно это доказывать, прошли безвозвратно.

Она сказала с досадой:

— Зачем расстраиваться, Джорджи. Пусть мои мелкие горести не омрачают твой день.

На что он с такой же досадой ответил:

— Слушаю и повинуюсь.

Тут я выскочила за дверь, просто не могла этого больше терпеть.

Прихожая светлела, потом снова темнела, когда облака набегали на солнце. Я выбрала с зубьев щетки комок собачьей шерсти, ветер залетел в лестничное окно, подхватил его, понес по пролету, как одуванчик, закружил, завертел над рогами оленя на верхней площадке.

Накануне вечером миссис О'Горман меня зажала в судомойне, чтобы ознакомить с Успеньем. Больше-то, она сказала, некому меня наставить, раз я в безбожном доме воспитываюсь. Это она метила в доктора Поттера, который попал под обаяние новых наук. Доктор Поттер считал, что мир создан не за семь дней; на такое и тысячи лет

не хватит. Да, и даже горы не вечно стояли на тех же местах. И гора Святого Иакова рядом с затопленным кладбищем, может, тоже была когда-то плоским куском земли, лысым, бестравным под ледяной коркой.

Я из-за этого не так убивалась, как миссис О'Горман, которая причитала, что не ей сомневаться в незыблемости скал. Ее скала и твердыня — Царствие небесное, и вовсе ей не надо, чтоб его туда-сюда перемещали.

Она вжала меня в стул у стола в судомойне и возвестила, что завтра — день знаменательный, день, когда тело Пресвятой Божьей Матери было взято на небо, дабы там соединиться с душой. Ее не отдали червям на съеденье, как отдадут, к примеру, меня, настолько любит ее Господь Бог. Я не очень-то ей поверила.

Там, наверху, паутина волосков уже расползалась. Мои губы складывали: «Любит — не любит», только я не Господа Бога имела в виду.

Тут появился мастер Джорджи и стал застегивать свой уличный сюртук. Плащ на меху, тот, который потом я выхватила, висел в кладовке заброшенный. Он его перестал носить, потому что мистер Харди, когда возвращался с утренних торгов на Хлебной бирже навеселе, уж слишком

часто кричал: «О, vanitas vanitatem[1]».

В столовой с треском раскокали фарфор. Мастер Джорджи вздрогнул; сердце миссис Харди в несчетный раз было разбито, и она за это мстила обеденному сервизу. Луч прошел сквозь стеклянный веер над парадной дверью, посеребрил волосы мастеру Джорджи.

В ту же минуту снизу поднялась миссис О'Горман и сказала, совершенно спокойно:

— Собрались, так и ступайте, мастер Джорджи. Обоим-то нам терпеть — какая печаль.

Он замешкался на минутку, и миссис Харди успела выскочить из столовой, вопя, как наемная плакальщица, и стала карабкаться вверх по ступенькам. Миссис О'Горман не шелохнулась, у нее было каменное лицо. Солнце опять зашло за тучку, и — потух мастер Джорджи. Глянул через прихожую, подманил меня скрюченным пальцем.

Я, как он велел, бежала за ним, когда он вышагал по аллее и потом пошел дальше, по проулку между кустов ежевики, который вел на бульвар Принца. Эту щетку миссис О'Горман я в крапиву забросила. Он ни разу не оглянулся. А зачем?

---

[1] notes: 1

О, суета сует (лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)

Я ж была его тень. Махал, как солдат, руками, расплескивал сапогами лужи.

Мастер Джорджи взял меня с собой, чтоб ему не дергаться из-за того, что творится дома, и спокойно проводить время. Подберется хорошая компания, захочется вместе поужинать — и меня можно послать поглядеть, в каком состоянии мать. Если доктор Поттер ее накормил порошками или мистер Харди вернулся, мне незачем возвращаться. Если же тоска у нее продолжается, я пулей слетаю за ним.

На бульваре, под летними ветками, няни колыхали в колясках детишек. Совсем недавно лило, и девчонки визжали, когда налетал ветер и ссыпал им за шиворот брызги. Хозяин Панча и Джуди расставлял свой театр у каретной стоянки. Мальчишка-еврейчик, нанятый для зазывания публики, уже мял свой аккордеон.

В жизни ну никогда никто из моих знакомых не видывал того человека, который оживлял мистера Панча. Кто говорил — он карлик, а кто — будто он трехметрового роста. Он расставлял свою ширму возле двери фургона и подныривал под нее сзади: так сохранялась тайна. А вдобавок, когда наступало время еврейчику нас обходить с шапкой, мы живо смывались. Песик Тоби был

настоящий; и если кто сунется под ширму, он того кусал за ноги.

Я задержалась — ждала, пока откроется полосатый занавес. Больше всего я обожала то место, когда Джуди уходит снимать с веревки белье, а мистер Панч принимается колотить ребеночка, чтоб перестал орать, — и дети кричат и хохочут, те особенно, кого регулярно дерут.

Мастер Джорджи ушел вперед, но я не беспокоилась. Знала, что увижу его в гостинице «Вашингтон», где его ждал друг, Уильям Риммер, товарищ по медицинскому институту.

Занавес как раз пошел на сторону, показал мистера Панча, который нагнулся над люлькой и раскачивал вопящую детку туда-сюда, и тут произошел несчастный случай. Толпа зашипела, отхлынула, сверху посыпались брызги — ширма качнулась, прочесала нижние ветки и рухнула. Мистер Панч вывалился и смирно лежал в луже. Песик Тоби прыгал и рычал, прыгал и заливался.

Все случилось вмиг, мы и ахнуть не успели. А потом — о, чудо из чудес! — хозяин Панча и Джуди возник перед нами, он с трудом поднимался на ноги, махал руками, отбивался от складок полосатого занавеса. Он лил потоки ругательств, но выходило смешно и не страшно, потому что

кричал он тем же своим попугайским голосом. И нос изгибался под мокрым цилиндром до самого подбородка.

Фургон с золотыми буквами на боку отделался царапиной, хотя его так шарахнуло, что сорвало с подпор ширму. Под шумок какой-то парень схватил аккордеон еврейчика, но тут тетка одна как даст ему зонтиком по башке, он его и бросил. Это тоже была потеха, она хлопает его и визжит: «Кто у нас гадкий мальчишка?» Ну вылитый мистер Панч, когда он наказывает ребенка, очень у нее выходило похоже. Мы прямо чуть не лопнули со смеху, бесимся, прыгаем по лужам, а песик Тоби кусает нас за ноги.

Все скоро выяснилось и уладилось, господин, виновный в переполохе, раскошелился и покрыл убытки. Оказывается, ни свет ни заря из овощной тележки повывалилась на дорогу капуста, кое-что собрали обратно, кое-что стибрили, а один вилок остался. А конь господина проходил прежде службу в кавалерийском полку, он принял этот вилок за свернувшуюся кобру, встал на дыбы, прянул в сторону и боком толкнул фургон.

Животное недавно вернулось из Африки, а там эти кобры на каждом шагу. Зубов у ней нет, но как ужалит, из языка у нее выделяется яд, и это

исключительно вредно.

Потом господин снова взобрался на своего коня и ускакал прочь, а хозяин Панча и Джуди сложил свою покалеченную ширму в фургон и на сегодня закрыл представление. Он еще ругался, но уже не так громко.

Я еще не добежала до «Вашингтона», как стало накрапывать. Я была без шали, но сырость мне нипочем. Зимой, бывало, ветер несется с реки, воет, а я притулюсь у двери Звездного театра и там стою. Как-то вышел один артист и сказал, что я премиленькая и почему бы, мол, мне не зайти — погреться у камелька в фойе. Я не пошла, у него были размалеваны щеки, и вид потому не добрый, а злой. Да я и поняла, что он меня просто умасливает, у меня так растянут рот и глаза чересчур глубоко посажены, от этого всегда грустный вид — что уж тут такого премиленького. Еще как-то раз, в декабре, у меня совсем посинели ноги, и миссис О'Горман пришлось растирать их гусиным жиром, чтоб восстановилось кровообращение. А мне что! Я бы с удовольствием в сосульку превратилась ради мастера Джорджи.

Летом мое любимое место были гранитные ступеньки на Липовой при выходе на железнодорожную станцию. С них я смотрела вниз по

склону, и там, в квадрате сада, стояла гостиница и красные розы подпрыгивали на ветру. В ясные дни под синим высоким небом скакали по горизонту Уэльские горы. А сейчас небо сливалось с серой рекой и низкое белое солнце, на дольки поделенное мачтами, плыло и разбрызгивало красные лепестки.

У мистера Харди в точности тот же вид висел на стене в кабинете, в рамке, нарисованный масляными красками. Тут как тут были мачты, и домики сбегали по склону к табачной фабрике, не было только гостиницы: ее пока не построили. Картина была ужасно старинная, перешла к мистеру Харди еще от отца, а цвета всё свеженькие, как новенькие, не то что фотографии мастера Джорджи, которые одна неделя — и почернеют.

Я просидела час или больше, смотрела, как туда-сюда снуют люди, как дымки пароходов протыкают низкие тучи, и вдруг я стала свидетельницей христианского поступка. Возле нижней ступеньки с ребеночком на руках и плетеной корзиной у ног стоит женщина, и к ней подходит другая, дама, она получше одета и подбирает юбки, чтобы не замочить. В корзине живая утка, шея привязана к ручке, бечевкой завязан клюв. Женщина откинула шаль, видно,

показать прикорнувшего у груди малыша. И тут какой-то мальчишка подкрадывается из толпы, хвать корзину — и был таков. Женщина ничего не замечает, воркует себе над ребеночком. Так проходит несколько секунд, и тут другой мальчик подходит и кладет к ее ногам ту самую корзину. И ни слова не говорит. Распрямляется и видит, что я на него уставилась. Года на три старше меня, темный, не то от грязи, не то от природы, и на верхней губе какая-то пакость, по-моему, это эпителиома. Я замечала такие вещи, мастер Джорджи давал мне свои медицинские книжки читать, хотя я их еще не совсем хорошо понимала.

Тут из гостиницы вышел Уильям Риммер. Я дождалась, пока появится мастер Джорджи, а потом дунула вниз по ступенькам и спряталась за дверь магазина. Мастера Джорджи раздражало, когда я путаюсь под ногами. Слов я разобрать не могла, но Уильям Риммер сперва убежал на несколько шагов вперед, потом вернулся, все время он дергался, и я поняла, что они не то что беседуют, а скорей ссорятся. Обычно они рассуждали про трупы, про кровеносные сосуды, я и подумала сперва, что это у них противоречия на медицинской почве. Но у мастера Джорджи вид был почему-то как у побитой собаки — совсем

на него не похоже, — и вдруг я почуяла беду. Рассудила, что они увлеклись, ничего вокруг не замечают, подкралась поближе и спряталась за розами. Еще лило, и со шляпы мастера Джорджи стекала вода.

Уильям Риммер говорит:

— Я не желаю слушать твоих оправданий.

Мастер Джорджи говорит:

— Но мне не в чем оправдываться.

Говорит спокойно, он всегда так говорил. Он считал, что, если хочешь, чтобы к твоему суждению прислушивались, всегда надо его высказывать холодно и бесстрастно.

— Ты не можешь отрицать, что был не на высоте, — сказал Уильям Риммер. — Черт возьми, Джордж, ты же знаешь мои чувства.

— Не постигаю, в чем моя вина, учитывая обстоятельства дела. Ты сам слышал, что сказала миссис Прескотт… Что тут прикажешь?.. Отказаться в твою пользу?

— Будь я на твоем месте, я так бы и сделал…

— Вот как? Рискуя прослыть невежей?

— Так друзья не поступают, — крикнул Уильям Риммер и снова шагнул вперед, но на сей раз он не вернулся, он совсем ушел, не оглядываясь.

Мастер Джорджи постоял, хотел было его до-

гнать. Но через несколько шагов передумал и чуть не побежал через площадь. Даже головы не повернул, проверить, бегу ли я за ним.

Я никак не могла взять в толк, из-за чего у них вышла ссора. Миссис Прескотт была богачка, она жила на широкую ногу за Земляничными полями. У нее были три дочери, две, говорили, уродины, а третья красавица. Я слыхала, какие мистер Харди отпускал замечания насчет ее внешности, а уж он разбирался в таких вещах. За неделю до того миссис Прескотт давала вечер с танцами, и мастер Джорджи был приглашен. Уильям Риммер, выходит, тоже. Но что такого сказала миссис Прескотт, и что такого сделал мастер Джорджи, и за что Уильям Риммер его ругал, было покрыто мраком неизвестности.

Я никак не могла отвязаться от своих мыслей, они все вертелись, вертелись у меня в голове, пока я бежала за мастером Джорджи по Прибрежной. И как посмел этот Уильям Риммер его ругать! Небось когда заразил себе палец — резал печенки в прозекторской, — два дня лежал потом на краю погибели, метался в горячке, мастер Джорджи одну ночь совсем не отходил от его постели. А когда пришел домой и рассказывал миссис Харди о мученьях друга, в глазах у него стояли слезы.

Сердце у меня переворачивалось от такой черной неблагодарности.

Мастеру Джорджи надо бы пойти налево от церкви Святого Иоанна; а он вдруг взял направо, на мощеный подъем к горе Святого Иакова. То ли уж так задумался, то ли нарочно время тянул, не хотел домой возвращаться. Дождь перестал, между дымовыми трубами катило мокрое солнце. Глаза миссис О'Горман не глядели бы на эти места. От нужды, она говорила, ее аж в дрожь кидает, довольно она навидалась нужды из-за Ирландии и картошки этой.

Давным-давно, когда был жив еще отец мистера Харди, купцы селились по этой улице, поближе к берегу и к собственному делу. Но разливом вод и напором рода человеческого, так мастер Джорджи говорил, их погнало наверх, и пришлось им ставить дома на холмах. Прежде богатые дома стояли теперь в разоре, галереи сгнили, окна законопачены тряпьем. Иногда набитые людом подвалы затопляло, и вместе с крысами тонули дети. Эти бедствия успокаивали миссис Харди, потому что, когда она работала в разных комитетах для помощи бедным, она могла отвлечься от своих мыслей.

Мисс Беатрис, когда злилась, кричала, что я

тоже небось вылезла из ирландских болот. То-то, когда меня нашли, зелененький лоскуток догнивал у меня в волосах. Только миссис О'Горман говорила, что все это враки. Ведь кто мне волосы обстригал, чтоб вшей извести? Так что кому лучше знать? Да мне все равно. Мало ли откуда я вылезла — важно, куда я иду.

Все же я ускорила шаг, взбираясь в гору за мастером Джорджи. У бедняков хищный вид, а все из-за этих костей, голых костей, кости, кости — у оборванцев на углу, у драчливых беспризорных детишек в канаве, у осоловелых, навалившихся на заборы мужчин. Ко мне они не лезли, видели, что взять с меня нечего. Одна женщина прицепилась к мастеру Джорджи, но он от нее отмахнулся, вовсе не из-за бесчувственности, просто задумался. Среднего роста, сильный, крепкий, идет выворачивая ступни, как струнка прямой. Как это странно, что даже походка может внушать любовь.

Вдруг он бросил через плечо:

— Что ты плетешься, Миртл. Не отставай.

Секунд тридцать, наверно, пока отворялась обшарпанная дверь, за которой была эта воющая женщина в рваной рубахе, я была счастлива: ведь окрик его означал, что он не забыл, что я здесь,

не хотел, чтобы я потерялась.

Лицо женщины исказилось от ужаса. Зубов у нее почти не было, и рот получался черной дырой. Мастер Джорджи хотел пройти мимо, но опять она закричала, и крик был жуткий, пронзительный, как вот у чайки, когда она падает на добычу. Тут он сразу остановился. Поискал глазами, кто бы ей мог помочь, да в этом проклятом месте вопи не вопи, кто заметит. Он поднялся по скрипучим ступеням и прошел за ней в дом.

Я побежала следом, боясь пропустить интересное. Женщина карабкалась по лестнице впереди, а я разглядывала жесткие черные волоски на толстых белых икрах; от подъема она задохнулась и перестала кричать этим своим страшным птичьим криком. Вдруг я чувствую, кто-то дышит мне в спину, оглядываюсь и вижу — да это же тот самый мальчишка, который сегодня спас утку. Я чуть не сковырнулась; перила на повороте сломались, и щепка впилась мне в руку, так я рванула наверх.

Наконец-то мы ввалились в открытую дверь на четвертом этаже. То есть вошли мастер Джорджи и женщина, а я на пороге осталась. И вижу — в камине горит огонь, тень и свет играют на латунных прутьях кроватной спинки. Рядом круглый

столик, а на нем бутылка, стакан и карманные часы. На кровати, вытянув руки над головой и зажав в кулаках прутья, лежит кто-то в одной рубашке, выставив голую задницу. Я удивилась, как можно спать в такой позе, он не лежал, он скорей висел, и спина напружена, как для упора на летящих качелях. Что на кровати мужчина, это я поняла, потому что на спинке висели брюки.

И опять жуткий крик раздался в комнате, и это было пострашней всего, что вытворяла та женщина, потому что на сей раз кричал мастер Джорджи. Я перепугалась, хотела подобраться поближе, но тут утиный мальчишка оттолкнул меня и спрашивает:

— Что случилось, Маргарет? Беда какая?

— Он на мне кончился, — голосила женщина. — Я знать ничего не знаю!

Мастер Джорджи повалился на колени возле кровати. Он и не пробовал перевернуть тело, нащупать пульс; только пальцем провел по складке рубашки, там, где она вздулась у шеи. Стало тихо-тихо, и мне делалось все страшней и страшней, будто сейчас вот случится ужасное что-то в темнеющей комнате, пока на столике тикают и поблескивают эти часы.

Наконец мастер Джорджи поднял глаза, и стало

в комнате от ужаса душно, потому что он весь побелел и в глазах у него было то же смятение, как у меня. Я к нему подбежала, положила руку ему на плечо, и вот даже не знаю, понял он, кто это, или нет, только вдруг он наклонил голову и щекой потерся о мою руку. Потом отпрянул и сразу встал.

— Нужно его перенести, — это он сказал тому мальчишке. — Ты мне поможешь его перенести. — Он не просил, он молил.

— В лазарет, что ли? — хотел знать мальчишка, но мастер Джорджи крикнул:

— Нет, черт тебя побери! — Но сразу он постарался взять себя в руки и сказал уже понятней: — Я знаю этого господина. Будет лучше для близких, если мы его отнесем домой.

Тут он меня заметил и велел той женщине увести в другую комнату.

— А нету ей, другой-то, у меня, — она сказала. Но она все равно меня вытолкала на площадку и попробовала захлопнуть перед носом дверь, да не тут-то было, я с ней схватилась, а где ей было со мной сладить. Руки у ней были слабые, и от нее воняло спиртным.

Понадобилась большая сила, чтоб разжать кулаки на прутьях и перевернуть тело. Мастер

Джорджи поскорей обдернул на нем рубаху приличия ради. И тут уж пришел мой черед заорать, потому что это лежал мистер Харди — седые патлы, плоские, как водоросли, губы синие, как сливы в его саду.

Тут женщина ко мне подходит и шепчет:

— Это кто ж такой будет, а, милок?

Но я не проронила ни слова. Она мне волосы дергала, чтоб от меня добиться ответа, а я — ни единого звука. Пусть бы она хоть все волоски по одному мне повыдергала, и то бы я ей ничего не сказала, потому что это бы было предательство.

— Мне надо на чем-то его отвезти домой, — сказал мастер Джорджи.

Мальчишка кивнул в сторону окна:

— Там на дороге фургон стоит, а в конюшне лошадь. Мне деньги нужны.

— Деньги у меня есть, — сказал мастер Джорджи и сунул руку в карман.

Женщина подкралась поближе к столику, а сама глаз не спускает с часов. Я раскусила, что у ней на уме, кинулась к этим часам, схватила, к груди прижала. Тут она на меня как бросится и такую мне влепила затрещину, что я задом на кровать повалилась. Ногой задела мистера Харди за щиколотку, еще чуть теплую щиколотку, и

мне стало так тошно, так жутко, что я вскочила, как молнией ударенная.

Часы я отдала мастеру Джорджи. Он стоял у окна, смотрел на улицу. Взял их у меня, даже не кивнул, стал перебрасывать из ладони в ладонь. И чтоб не мельтешить перед ним, я села на пол и привалилась к грязным обоям.

Тут вернулся утиный мальчишка. Сказал, что лошадь вводят в оглобли, а нам надо выйти черным ходом, через кухню, во двор. Мастер Джорджи говорит: «Хорошо, хорошо», а сам все глядит на кровать. Потом сдернул со спинки брюки и стал в них запихивать ноги мистера Харди; пальцы на этих ногах были все в мелких таких белых мозолях, как в бисеринках.

Женщина нет чтоб помочь, наоборот, отскочила, стоит и руками всплескивает. Я бросилась было на выручку, но мальчишка оказался проворней. Когда на мистера Харди почти уже натянули штаны, рубашка задралась, и я даже удивилась, какая тряпочка болталась у него между ног. Я уже видела эту вещь раньше, как-то на Пасху, когда ему захотелось мне ее показать, но тогда что-то твердое вроде морковки торчало у него в пальцах.

Мастер Джорджи вместе с мальчишкой по-

волокли его вниз. Он был такой статный, он от своего веса прогибался посередине. Женщине заплатили, чтоб открыла черный ход, но она подвела, обманула, прибежала обратно в комнату и голосила, что у ней сердце заходится. Я крепко держала сапоги мистера Харди, а когда на повороте по лестнице покатилась шляпа, я ее тоже спасла. Глаза у него были закрыты, но челюсть отвисла, его растрясли потому что.

Мне пришлось протиснуться мимо, чтоб отпереть дверь чулана. Когда она приотворилась, наши лица выхватил вечерний тускнеющий свет. У мастера Джорджи опять раскраснелись щеки, но это от напряжения. Ворота разболтались на петлях и были укреплены гвоздями. Мастер Джорджи с мальчишкой шарили у забора, искали вроде тарана что-нибудь, чтобы их выбить. Мистера Харди усадили к срубленному платану, а мне велели за ним присматривать — будто сейчас вот он возьмет и уйдет. Я и присматривала, правда издали, смотрела, как блестит на пуговицах у него дождь.

Пока он не умер, мне нравился мистер Харди. Такой веселый, не злой и если вдруг меня замечал, мне подмигивал. Когда были гости, он после ужина всегда пел, и голос гудел по дому, всем

слышно. Песня была одна и та же, про мальчика-барабанщика, павшего на поле брани, который перед смертью зовет свою мать, и в конце ему хлопали, и он начинал все сначала. Такая печальная песня, но он так завывал, дойдя до слов «Матушка, родимая, смерть моя близка», что все прямо лопались со смеху.

А теперь, если бы требовалось доказательство, что душа отлетает от тела, я могла бы ткнуть в него пальцем; вот уж яснее ясного — он внутри был пустой. И я понадеялась, что правильно уверяла миссис О'Горман, что у богатого всегда есть приятель, который его поджидает по ту сторону ясного синего неба; он не больно кому-то был нужен сейчас, без дружков, один. Я слушала нежное гулюканье голубей на крыше и с удовольствием думала про то, как же все ненадежно в жизни, и как она мимолетна, и как мне повезло вдобавок, что я живая. Конечно, лучшая моя часть печалилась, но сама я понимала, что мне сейчас хорошо. Да уж, уму, как и глазу, все понятнее при дневном свете.

Вдруг чем-то стукнули по воротам, но они только дрогнули, потом еще два раза ударили, и они поддались, распахнулись. Снаружи стоял тот самый бордовый фургон с уродскими золотыми

буквами на боку. Только в оглоблях стояла не лошадь хозяина Панча и Джуди, та клячонка была не больше осла, а тут — битюг, какие выгромыхивают с мощеного двора пивоварни.

Я держала дверцу, пока мастер Джорджи и утиный мальчишка волокли через двор мистера Харди. Мальчишка остановился было перевести дух, но мастер Джорджи крикнул: «Скорей… надо его положить». Может, мальчишка и подумал, что это укладывание требуется из уважения, но я-то знала, что мастер Джорджи торопится, боится трупного окоченения потому что. Ведь не дело же если мистер Харди прибудет домой весь как складной нож.

Внутри фургона еще валялись увечные останки кукольного театра, хотя не было ни мистера Панча, ни Джуди, ни полицейского. Нам пришлось сдвинуть на сторону доски, и когда освободилось место и выпрямили эти коченеющие ноги, мне велели запрыгнуть внутрь. Мастеру Джорджи нужно было сесть на козлах с мальчишкой, чтоб ему объяснять дорогу. Мне не очень нравился этот план, но я не успела высказаться, дверь захлопнули, закрыли на засов, и мы с мистером Харди погрузились во тьму, непроницаемую, как могила.

Нас трясло и мотало, потому что фургончик был хлипкий, а конь здоровенный. Мне пришлось вытянуть ноги поперек мистера Харди и как следует придавить его, чтоб не коробился. Когда колеса попадали на рытвины, нас прямо подбрасывало на воздух. Когда заворачивали за угол, что-то острое меня ударило в грудь. Моя рука в темноте узнала бедного ребеночка мистера Панча, я прижала деревянную щечку к своей и стала его колыхать, чтобы он не боялся.

Во тьме разные картины проплывали у меня в голове. Миссис Харди и мисс Беатрис узнают страшную новость. Мисс Беатрис рыдает, но оплакивает скорей не несчастного своего отца, а себя, потому что теперь ей придется остаться со скорбящей вдовой и лопнет план удрать к морю. Миссис О'Горман винила за эти бредни исключительно образованность, никогда мисс Беатрис ни по чему такому диковинному не сохла, пока в пансион ее не услали. Миссис Харди лежит в постели и кличет доктора Поттера, чтобы принес ей портвейн. Но он и бровью не ведет, он слишком занят, он утешает мисс Беатрис, дорвался, наконец-то она у него в объятьях, и его дурацкое от счастья лицо сияет над ее дрожащим плечом. Я наливаю вина из кухонного ледника и несу

миссис Харди; прежде чем пригубить бокал, она хватает меня за руку и бормочет с выпученными глазами: «Ты мой единственный истинный друг на всем белом свете». И я говорю: «Это мой долг», но потом соображаю, что это звучит суховато, и я прибавляю: «Что вы, я с большим удовольствием».

Но на этом самом месте мистер Харди перекатился у меня под ногами. Я испугалась, как бы его не поцарапало деревяшкой, хотя, конечно, мертвому телу не нужно защиты от стрел судьбы. Но все же я его подтянула за пиджак к себе поближе; я мастера Джорджи оберегала.

Слезы выступили мне на глаза, когда я подумала про миссис Харди, потому что я же понимала, что она любит своего мужа, что бы там сама она ни причитала, и, наверно, все между ними было иначе, когда они только-только поженились. Она умней его, и ей не понравилось, как он поет, и с этого, видно, у них и пошли разногласия. Миссис О'Горман рассказывала, что познакомились они на конских скачках в Индии, а там жарища такая, что мутятся мозги у людей и средь бела дня приходится закладываться в постель. Видно, великая вещь — сила привычки, потому что миссис Харди не отучилась средь бела дня закладываться в

постель в любую погоду.

Вдруг фургон рывком стал, непонятно вздыбился и попятился. Я услышала звон копыт по булыжнику, и меня кинуло к двери. Потом нас еще подергало, потом накренило влево, и меня швырнуло вперед. Уж не знаю, где оказался мистер Харди, но мне было все равно. Я подтянула к подбородку коленки и все шепчу, шепчу, что Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться[2].

Еще несколько минут мы помотались по ухабам, а потом встали как вкопанные. Засов отодвинули, и не успела я вывалиться, моргая от света, как мастер Джорджи схватил меня за руку, увел в сторонку и стал шепотом давать срочные указания.

— Перед домом карета, Миртл… пройди черным ходом и посмотри, где миссис О'Горман и слуги… поразведай, в какой комнате мисс Беатрис…

Его дыханье так сладко щекотало мне ухо, а далеко, на горизонте, бежал, торопился поезд и длинная клякса дыма лезла из паровозной трубы.

— … Возвращайся как можно скорей… да по-

---

[2] notes: 2
Ср. Псалтирь, 22, 1.

глядывай в сторону двора, вдруг этого идиота Поттера носит по саду. И чтоб ни одна душа тебя не увидела, а если попадешься, ни слова не говори о том, что произошло.

— Не скажу, — ответила я.

— До дому вишь сколько еще тащиться, — вставил утиный мальчишка, — нам надо на чем-то его снести.

— Ни единого слова, — повторил мастер Джорджи с таким видом, как будто вся жизнь его зависит от этого. — Ты поняла?

— Верьте мне, — сказала я. — Я буду нема как могила.

Сказала и побежала через свиную закуту сбоку от дома, обошла сторонкой свирепую, красноглазую, упертую в землю рылом свинью, перепрыгнула канаву перед забором.

Миссис О'Горман приковало к ее креслу, на голове был передничек для защиты от остатнего света. Она спала крепким сном, белый передничек вздувался и опадал от храпа, а рука сжимала кусочек тоста; пес, уткнувшись ей носом в колени, слизывал масло. Я слышала, как рядом, за стенкой, повариха со служанками стрекочут над стуком кастрюль. Одна вскрикнула: «Ой, да чтобы он…», другая провизжала: «Вот те крест».

Я прокралась по задней лестнице и заглянула в прихожую. Муха кружила, кружила под канделябром, и от этого ее жужжанья и диких кругов, а еще потому, что у меня грохало сердце, я не сразу услышала голоса в гостиной. Слишком близко я подойти боялась, дверь стояла приотворенная, и я на цыпочках подкралась к напольным часам, там затаилась и стала слушать. До меня долетали только обрывки разговора, а в них ни складу ни ладу.

— Правда, уверяю тебя… Всю дорогу домой. — Это мисс Беатрис говорила.

Тут другой голос, я его не узнала, сказал умоляюще:

— Нет, неужто он?.. Ты это знаешь наверное?

— Можешь на меня положиться… ну, посмотри мне в глаза…

— Заклинаю тебя, не поддавайся только сестринским чувствам.

— Но это истинная правда, поверь. Остается применить чуть-чуть женской хитрости.

— Которой кое у кого предостаточно, — вставил мужской голос, голос доктора Поттера, с заметной досадой.

Затем обсуждался какой-то званый чай, безумно, кажется, растревоживший ту невидимую

незнакомку, потому что она воскликнула:

— И ты убеждена, что можно его будет уговорить?

Мисс Беатрис сказала:

— Можешь быть спокойна… хотя он вечно сидит уткнувши нос в книгу.

— О Господи, — был ответ, — не броситься ли мне сразу домой, поскорее прочесть хоть одну. — И тут обе они с мисс Беатрис покатились со смеху.

— Бедный малый, — мрачно сказал доктор Поттер. — Боюсь, что он обречен.

И тут широко распахнулась дверь, и прихожая наполнилась шелестом юбок. Меня как ветром выдуло из-за часов и швырнуло в платяной шкаф.

Целую вечность они стояли у парадной двери, целовались и сюсюкали, хотя мисс Беатрис, я не сомневалась, это уже надоело. Голос у нее заметно прокис, и вскорости, когда вдруг на время умолк дождь, она объявила, что «милой Энни» лучше поторопиться к карете. Доктор Поттер предложил сопроводить ее по аллее, но вмешалась мисс Беатрис и сказала, что в этом нет особенной надобности. И хлопнула дверь. Тишина теперь прерывалась только легкой возней. Потом доктор

Поттер сказал: «Ты думаешь, кажется, что я каменный», и мисс Беатрис ответила: «По мне, так оно бы и лучше». И шаги отступили к гостиной, и я услышала, как затворяется дверь.

Я сдернула с крючка тот мастера Джорджи плащ на меху и бросилась вниз по лестнице, по коридору, во двор. Плащ стегал по штокрозам у стенки сортира, сбивал и пускал по ветру завялые лепестки. Сад стемнел, тени путались у меня под ногами. Я не рассчитала ширину канавы, угодила прямо в грязную глубь. И, вся забрызганная, метнулась через поле, туда, где меня ждал фургон Панча и Джуди.

Утиный мальчишка сидел на пригорке задрав голову, а мастер Джорджи изучал то багровое пятно у него на губе. Видно, чтобы отвлечься, изображал из себя доктора. Я подошла, он выхватил у меня плащ и хоть бы слово сказал, а ведь пола-то намокла. Не поблагодарил, не обругал — даже обидно, мне что выговор, что похвала, все равно, только бы он заметил, что я существую на свете. Я сказала, что гостья ушла, а мисс Беатрис с доктором спорят в гостиной. Отчета о миссис Харди не требовалось, сон был ее обычным вечерним делом.

— Миссис О'Горман, — я сказала, — слегка

вздремнула и едва ли встрепенется раньше чем через полчаса.

— Что за гостья? — он спрашивает.

— Молодая барышня, — я отвечаю. — Сохнет по какому-то знакомому мисс Беатрис.

— Следи за домом, — приказал он, и я отошла, и смотрела издали, как они с мальчишкой вытаскивали мистера Харди из фургона и вываливали на этот плащ. Вывалили и понесли через поле. Сначала сапоги и шляпу пристроили у него на груди, но они все время соскальзывали. Я бросилась было на помощь, но мастер Джорджи от меня отмахнулся, и мальчишка в конце концов нахлобучил шляпу себе на голову. А сапоги куда подевались, не знаю, так их потом и не видела, может, до сих пор в той канаве гниют.

Я пробиралась по высокой траве, и мысли у меня стали печальные. Спрятанное солнце садилось, брызгало багровыми пятнами на торопливые облака, и этот кровавый вид, мне казалось, был не к добру. Мне совсем не нравилось, что умер мистер Харди, потому что из-за этого могла перемениться вся моя жизнь. Я вызывала в памяти пример царя Давида, как он, когда сын его лежал на одре болезни, умолял Иегову сохранить младенцу жизнь, а когда его просьба не была

уважена, щелкнул пальцами и думать про это забыл[3]. Все случается, я говорила себе, в силу необходимости, и ничего поэтому не избежишь. Слабое утешение.

Мистера Харди без помех доволокли до третьего этажа и положили на его кровать в синей комнате в конце коридора. Миссис Харди редко допускала мужа в главную спальню этажом ниже из-за головных болей и несходства во взглядах. Комната у мистера Харди была мужская, без рюшек-безделушек, кроме китайской вазы, которую обожала его мать, и знамени 52-й Легкой кавалерийской бригады, которое кто-то там нес в битве при Ватерлоо.

Лицо и руки у мистера Харди были в грязи из-за недавней поездки, и меня отрядили за водой на кухню. На столике, правда, стоял полный кувшин, но мастер Джорджи сообразил, что, если обнаружится, что вода использована, это будет подозрительно: мистер Харди не очень налегал на мытье.

Повариха с Лолли, служанкой, сидели за столом и резались в карты. Миссис О'Горман проснулась, но еще не вставала с кресла. Она захотела знать,

---

[3] notes: 3

Этот сюжет изложен во Второй книге Царств, 12, 16, правда, в несколько иной трактовке.

где меня носило, и я правдиво ответила, что ходила в город с мастером Джорджи. Прежде чем она приступила к дальнейшим расспросам, я сослалась на жажду и нырнула в судомойню, а там уж налила полный таз, вынесла через боковую дверь и понесла к лестнице. Второпях половину воды расплескала, но, слава тебе Господи, доктор Поттер тренькал на фортепьянах и дверь гостиной так и стояла закрытая.

Когда я вернулась, утиный мальчишка уже ушел, и вскорости, когда мастер Джорджи велел мне открыть окно — беспокоился, видно, что мистер Харди вот-вот гнить начнет, — я увидела, как бордовый фургон подпрыгивает по тропке мимо свиной закуты.

Скоро мистер Харди мирно лежал на постели: одежда вся почищена, волосы назад зачесаны, щекой к подушке — челюсть чтоб не отвисала, один кулак откинут, другой прижат к груди. Он, умирая, закрыл глаза, может, от боли, а может, не хотел видеть, что на него надвигалось, так что мы обошлись без монет. Мы его уложили поверх одеяла, чтобы казалось, будто так он и рухнул после гулянки в клубе. Когда все было готово, я плеснула грязную воду в окно, а мастер Джорджи откопал вторую пару сапог и поставил к качалке

у гардероба.

Он сказал:

— Запомни, Миртл, он умер в постели от разрыва сердца.

И это, в общем, ведь чистая правда была, если не вникать, в какой именно постели.

Когда мы уже выходили, бабочка-капустница запорхнула в окно, села на голую пятку мистера Харди. Я хотела ее согнать, но мастер Джорджи удержал мою руку.

— Ты только подумай, Миртл, какой контраст между летучим и незыблемым.

И заплакал, хотя без звука. Потом прошел прямо к конюшням, оседлал своего коня и ускакал в реденькую темноту.

Когда ударили в гонг к ужину, а мистер Харди не явился, решили, что его нет дома. Его нашла служанка, через час примерно, — поднялась приглядеть за огнем. Так перепугалась, что даже кричать не могла и шепотом выложила свою новость. Она — это она поварихе рассказывала — сперва подумала, что пальцы у него на ногах шевелятся, а это ей показалось из-за свечи. Меня послали за доктором Поттером, он только-только ушел.

Я потом такого понавидалась, что никогда не

забуду: как мисс Беатрис билась головой о металлические лепесточки, бегущие в гостиной по овальному зеркалу, как колотила кулаками в грудь доктора Поттера, когда он старался ей утереть кровь со лба своим носовым платком; как миссис О'Горман пнула ногой пса за то, что скреб линолеум перед синей комнатой; миссис Харди, вся собравшись, спокойная, как могила, стояла в прихожей и не спускала глаз с входной двери, будто ждала, что муж ее все же придет домой.

Около полуночи вернулся мастер Джорджи вместе с дальним родственником миссис Харди, капитаном Таккеттом, который случайно гостил по соседству. Доктор Поттер отвел их наверх, в гостиную, чтоб сообщить про мистера Харди, и я не видела, как мастер Джорджи притворялся, что не ожидал. Миссис Харди осталась внизу, а когда капитан Таккетт спустился, чтобы ей соболезновать, она сухо кивнула и поворотила ему спину. Минутку он постоял, грустный, как и положено, потом взял свою шляпу и отбыл. Я рассказала про это миссис О'Горман, и она объяснила, что у этого капитана Таккетта дурная слава, он в

самого графа Кардигана[4] пальнул в Уимблдоне, хорошо — не попал, а миссис Харди он седьмая вода на киселе, так что невелика честь и Господь с ним совсем.

Еще приходили, уходили, чуть ли не до утра, меня, правда, услали спать. Я не сомкнула глаз почти до света, и это странно, ведь я с ног сбилась.

Наутро меня разбудила служанка, трясла за плечо, велела встать. Я открыла глаза: сиял яркий свет, пели-заливались птицы. В каждом оконном квадратике плавало синее небо.

— Тебя вниз зовут, — Лолли сказала, — ты мастеру Джорджи нужна в синей комнате. Он, похоже, всю ночь не ложился.

Он мне показался таким, как всегда, — этот его нежный рот, эти глаза расставленные, которые на меня никогда не смотрели, просто скользили по мне; но тогда я, наверно, и не видела его таким, как он есть, — а когда я видела? Он устроил свой фотографический аппарат, разложил поддоны. Ртутный шарик пролился на ковер и блестел от солнца.

---

[4] notes: 4

Скорей всего, это тот самый граф Джеймс Томас Брюднелл Кардиган (1797–1868), который (впоследствии, и это время еще настанет для героев книги) руководил знаменитой «атакой Легкой кавалерийской бригады» при Балаклаве в 1854 г., воспетой Теннисоном.

Я глянула на постель, и вчерашний день, было полинявший, как смутный сон, снова встал передо мной во всех безобразных подробностях. Мистер Харди усох, кожа пошла пятнами, как вот фрукт, когда залежится в вазе. Кто-то около него не спал в эту ночь: слезы воска застыли на серебряных шандалах.

Мастер Джорджи сказал:

— У нас с тобой теперь общая тайна, Миртл. Я виню себя в том, что тебя ею обременил.

Я ответила:

— Я никому не скажу.

— Мне бы не следовало тебя втягивать…

— Пусть каленым железом жгут — не скажу, — уверяла я.

— Я не требую от тебя, чтобы ты лгала, Миртл. Это было бы несправедливо. — Он прилаживал свои пластинки к аппарату, пока говорил, и от йода у него были желтые пальцы. — Я не о себе пекусь. Я должен оберечь свою мать.

Я удивилась даже, от чего это ему надо оберегать миссис Харди. Ведь не в первый раз мистера Харди доставляли домой в непотребном виде, хотя, конечно, в последний.

— Меня теперь ушлют? — я спросила, и голос у меня дрогнул, такой это был страшный вопрос.

Он не ответил, был занят установкой этой своей треноги. Я знала, что скорость очень важна, когда уже пластинка всунута в аппарат, и попробовала терпеть и не дергаться. Когда он убедился, что все готово, он потянул меня за руку и поставил в головах кровати. Приказал:

— Положи руку ему на плечо.

— Меня теперь ушлют? — я повторила, а он, уже с раздражением:

— Нет, Миртл, нет. Я только прошу тебя, чтобы ты скрыла то, что ты знаешь. Не дело, если все станет известно миссис О'Горман.

— Да мало ли чего я миссис О'Горман не говорю, — возмутилась я. — Даже когда она меня бьет.

— Тише, пожалуйста, — он взмолился, — у стен есть уши. — И прибавил загадочно: — Теперь все изменится… вот ты увидишь. Как раньше уже не будет. А теперь наклони-ка голову… еще чуть-чуть… пальцы расправь… ты прощаешься с ним.

Я прощалась с незнакомым человеком, потому что тот, кто лежал сейчас на кровати, ничуточки не напоминал мистера Харди. Рот — тонкой жуткой чертой, из пятнистых ноздрей торчат волоски. На меня дохнуло чем-то мерзким, как йод с жимолостью, и я сморщила нос.

— Оставь, — приказал мастер Джорджи. — Замри и не двигайся. Не мигай.

Я уперла взгляд в мертвеца и про себя повторяла, что Господь меня поразит слепотой, если сморгну. И так я сильно сосредоточилась, что мастер Джорджи один и дышал в солнечно крапчатой комнате. Там, за окном, пели-заливались птицы. Всю мою жизнь, всю жизнь, я думала, я буду рядом с тобой; тут-то я и сморгнула, потому что от величия этой мысли мне на глаза навернулись слезы.

Пластинка вторая. 1850 г
Пелена спадает

Джордж Харди заглянул ко мне по дороге из лазарета домой. Поинтересовался, хочу ли я наутро на него поработать. Я сказал — хочу.

— Тогда я тебе предлагаю быть в доме в пять часов, — он сказал.

Так он разговаривает, манера такая. Купись я на это его «предлагаю» и явись на пять минут позже, он бы мне голову откусил. Его все считают книжником, прямо святым, но я-то лучше знаю. Сказал, что может мне обещать интересный день, осветил свою затею, и, судя по всему, день действительно обещал быть интересным, что правда, то правда.

Я отправился в город еще под звездами и на час раньше вошел в дом. Распорядки здешние я достаточно изучил и прикинул, что, поскольку сейчас зима, слуги пока валяются по постелям. А если старуха О'Горман случайно и встала, ей надо бы вскарабкаться наверх по лестнице, чтоб меня застукать. С годами она оглохла, а с тех пор как пса похоронили в саду, поднять ее по тревоге на звук шагов уже некому. Да если она меня и сцапа-

ет, я в секунду наплету ей с три короба, и кое-что мне от завтрака перепадет в придачу. Ну вот, значит, я преспокойненько перехожу темный двор, иду мимо служб и конюшен и отодвигаю на кухонной двери засов. Снимаю сапоги и вхожу.

Мне было не впервой войти в дом так, что никто об этом и не догадывался. Я ничего там не портил, по крайней мере всерьез, и я не воровал. Не такой я идиот и сам себе не враг. И выше первого этажа я никогда не совался. Мои предрассветные обходы гостиной, столовой и кабинета имели характер разведки. Я передвигал предметы и ждал, проверял — кто заметит. Начал с мелочей, возьму передвину кочергу в камине слева направо, или вазу, например, на полке перемещу, или шкатулки музыкальные на фортепиано переставлю в другом порядке. Потом, уж через несколько месяцев, осмелел и стал со стены на стену перевешивать картины. Доктор Поттер только через пять недель хватился, что картина с пароходами и рекой, которая в кабинете над столом висела, вдруг оказалась у самой двери.

Как мне доложили внизу, тут поднялся такой переполох, о каком я мог только мечтать. Поттер все подступался к миссис О'Горман с расспросами насчет прислуги. Она, добрая душа, божилась,

что все они люди честные и вдобавок в своем уме, так что он создал теорию о лунатиках и две ночи торчал на стуле в прихожей — надеялся кого-то схватить. Молодой миссис Харди, хлипкой после второго неудачного разрешения от бремени, ничего не сообщили. Ну а старую миссис Харди, ту нисколько не интересовало, где что находится, только бы ее кровать не трогали с места.

И вот когда мне эта возня уже слегка надоела, старуха О'Горман проговорилась, что Беатрис Поттер убеждена, что в доме духи, и даже просила мужа посоветоваться со священником. Он отказался, обозвал ее дурой, и далее последовало состязание в крике, в которое и миссис Харди внесла свою лепту, сообщив доктору Поттеру, что она знает единственного дурака и это как раз он и есть, и она клянет тот день, когда отдала за него Беатрис. А потом Беатрис призналась миссис О'Горман, что боится, не проделки ли это неупокоенного отца, — вот почему в то утро я оказался так рано в доме. Я решил сыграть свою последнюю шутку.

Сперва я пошел в столовую. Шторы были еще задернуты, и комната в темноте, но я достаточно ее знал, чтоб найти, что мне надо. Сгреб персидский коврик под окнами и через прихожую прошел

в кабинет. Жиденький рассвет уже прокрался сквозь стекла и вычертил голову тигра, которая прильнула возле стола к каминной решетке. Я выволок шкуру за дверь, вместо нее положил у камина коврик и, приглядывая за лестницей, поволок эту тварь за собой. Я сперва буквально обомлел, когда когти заскребли по плиткам, и мне пришлось приподнять тигра за лапы и так — вальсом — его доставить в столовую.

Я затеял его положить под окнами, где он лежал, когда еще мистер Харди был жив, но я так лопался со смеху из-за своего идиотского танца, что бросил его пока грудой, а сам подзаправился из графина на столике. Кое-что расплескалось на куртку, зато остальное ударило в голову, и тут-то я и сообразил, что самая потеха будет, если его положить на кресло так, чтоб он смотрел прямо на дверь. За окнами мерцал морозный сад. Я сидел за кухонным столом, когда миссис О'Горман поднялась с постели. Она стала вокруг меня хлопотать, как это она всегда, сразу увидела, что я без сапог и растираю босые ноги, разворошила огонь в камине и поставила на угли чайник Я ей подыгрывал и стучал зубами, так как знал, что у нее в шкафчике припасена кой-какая выпивка, причем я сам ее снабдил, и, между прочим, на

свои кровные.

Ну, не то чтоб совсем на свои. Во всяком случае, не с самого начала. Это процентики понарастали с вклада, который Джордж Харди внес когда-то в связи с одной бабой, чтобы усыпить ее память. Он вообще был в простых вопросах болван, баба та настолько проспиртовалась, что не помнила даже, что с ней минуту назад было. Те средства я пустил на покупку фотографического аппарата и разных химических причиндалов, а когда уж дело у меня наладилось и пошло, мог побаловать миссис О'Горман. Она простая душа, я ей ничем не обязан, но родных своих у меня нет, и почему бы не купить старухе гостинчика.

Само собой, когда чайник вскипел, она мне поднесла стопочку коньяку с горячей водой — подкрепиться и вдобавок выставила кусок холодной баранины. Поинтересовалась, зачем я понадобился мастеру Джорджи в эдакий час.

— Мы едем к дядюшке Уильяма Риммера в Инсвуд, — сказал я. — Что-то там с обезьяной будем делать.

Она не расслышала, а когда я заорал громче, поняла и запричитала:

— Обезьяна… это как же, зверюга дикая?

— Кошмарно дикая, — завопил я. — Вчера ее

переправили к мистеру Бланделлу из зоологического сада в Западном Дерби. Мистер Харди и мистер Риммер хотят ей выколоть глаза.

Она вся побелела и сказала, что в жизни своей не слыхивала про такие ужасы. Ну это она, между прочим, прилгнула, или, может, память ее подвела, потому что разве сама она лично не изведала кой-каких еще более тяжких мучений? На прошлом Рождестве, примерно когда молодая миссис Харди в третий раз скинула, миссис О'Горман вся в слезах мне призналась, что совсем еще девочкой родила от старшего братца и тот живьем схоронил младенчика в торфяном болоте.

Пришлось черт-те сколько возиться со всей этой аппаратурой. Дважды на полпути по лужайке Джордж спохватывался, что еще что-то там позабыл. Отправились было так — я на козлах, а он впереди верхом, но вдруг ни с того ни с сего он передумал, отвел назад коня, а сам пересел ко мне: в карете не было места.

— О, проклятье, — сказал он, когда наконец мы двинулись. — Какие чудовищные вещи приходится помнить человеку.

— Да уж, — отрезал я и наклонил голову против ветра.

Я не то что от всей души презирал Джорджа

Харди, хоть я считал его ханжой. Он зла мне не делал, наоборот, и у него были хорошие качества, это нужно признать, в том числе он, например, не жадный. Конечно, он себе это мог позволить, но он часто возился с переломами, нарывами и тому подобное, хоть отлично знал, что у пациентов гроша ломаного нет за душой. Да и мне лично кто починил губу, подпорченную, было дело, глотаньем огня!

В начале, когда случай нас бросил друг к другу, он предлагал мне работу на полный день у него по дому, вроде лакеем — ну там сапоги почистить, присмотреть за лошадьми, бегать на побегушках, но я прямо и откровенно ему сказал, что не из того я теста сделан, чтоб быть слугой, не в моем это характере подчиняться. Кое-кому, может, нравится через всю жизнь проползти на коленках, и на здоровье, ну а я предпочитаю держать мой хребет в том положении, какое ему назначила природа. Вдобавок у меня уже были кой-какие средства на прожитье, а с тех пор как он меня научил обращаться с аппаратом, я и вовсе стал сносно зарабатывать дешевенькими портретами.

Мне бы благодарность испытывать, а я нет, не очень-то был ему благодарен. Он со мной дер-

жался натянуто, вот что меня бесило, как-то меня отстранял, и это никак нельзя приписать неравенству происхождения и воспитания, потому что в лазарете он с низшими держался свободно, как с равными. А меня на расстоянии держал. Когда он прямо ко мне обращался, я даже замечал, что голос у него делается будто глуше, будто идет из заколоченного ящика. С нашей самой первой встречи он никогда, ни единого разу не затрагивал в разговоре тот дождливый день, когда мы через поле волокли мертвеца, но воспоминание то все равно между нами стояло, и часто, когда он на меня смотрел, я так и чувствовал, что он видит отцовскую шляпу, нахлобученную на мою голову.

Мы взяли по Риджент-роуд, которая шла за доками, и ветер нес тошно-сладкий дух сырого зерна, а воздух скрипел от визга голодных чаек Мы еле-еле продвигались, встряв в толчею запрудивших дорогу повозок. Неподалеку от Брунсвикской таверны партия скота, только что выгруженного из Ирландии и отправляемого на бойню, тряско оскользаясь, перегородила нам путь. Джордж ревел: «Тпрру!» — будто бросал боевой клич, хоть вожжи натягивал я, между прочим. Мы задерживались на четверть часа, а

то и больше. Он начал дергаться, боялся опоздать на свидание со своей обезьяной. И клялся, что в жизни не простит Уильяму Риммеру, если тот приступит к делу без него.

— А я какую роль буду играть? — поинтересовался я.

— Твоя работа будет в том, чтоб удерживать животное, — он ответил.

Это мне не очень пришлось по вкусу. Одно дело — бросить на кресло тигровую шкуру и совсем другое — подмять дикого зверя.

— И тут-то вы ей и вырежете глаза?

— Не вырежем! — он крикнул. — Мы только удалим катаракту.

Я понятия не имел, с чем это едят, но спросить не мог, потому что он уже вскочил на ноги, буквально джигу выплясывал от нетерпения, тряс двуколку, пинал самую ближнюю корову, орал погонщику, чтоб поторопился.

— Самообладание — прекрасное свойство, — заметил я, и он метнул в меня бешеный взгляд, однако же сел.

Возле Банк-холла кончились доки, а прилив отступил, и мы свернули на берег, который гнал мимо чернильно-черные волны, а песок после ночного морозца был твердый, как дуб. На хоро-

шей скорости миновали Миллерс-Касл, он теперь был пустой, весь в шламе, и купальные кабинки пообрушились в грязные лужи.

— Какие новости про Миртл? — спросил я. Миртл услали в пансион в Саутпорте. Я за два года всего разок и видел ее, когда приезжала на летние каникулы. Она еще сказала — как хорошо, что то пятно сошло у меня с губы.

— Мисс Миртл, — поправил Джордж.

— Мисс Миртл, конечно, — сказал я. — Кто ж когда сомневался.

— Она должна стать настоящей леди, — уступил он.

— Ну и как ей пока что это дело — нравится?

— Она цветет, — он ответил. — И отличается во французском.

Я сберег фотографию Миртл, хоть, кроме меня, никто ее там не узнал бы. Снимок сделали в спальне у старого мистера Харди и выбросили, потому что он получился черный. Я булавкой проколол ей глаза, процарапал черточки там, где были, наверно, волосы, и мне тогда показалось, что я ее ясно вижу, хотя, возможно, она просто была у меня в голове и мой мозг сам напечатал сходство.

У Малого Кросби мы свернули с берега, попали

на твердую тропу среди дюн, поерзав, она вывела нас на дорогу от моря, и мы молча трусили по ней целую милю картофельными полями. Здесь я вырос, мать батрачила в одной крестьянской семье в деревушке под Сефтоном.

Мы проехали по горбатому мостку над камышами, воткнутыми в заледенелую воду, и вошли в голый лес и в грачиный грай. На шум вылез из сторожки старый инвалид и заковылял к воротам. Был он хилый, неповоротливый, и Джордж мне велел слезть с козел и ему подсобить. Так я и сделал, но только-только распахнулись большие железные ворота — карета в них занырнула и загрохала по гравию, а мне пришлось плестись пешком. Тут такое меня зло взяло, хоть обратно уходи, но любопытство одолело.

Я уже хаживал по этой дороге, мать, когда при смерти лежала, послала меня, только тогда была самая весна. Мне было семь лет, клочья неба, синие, как васильки, плясали над взбухшими ветками. Теперь дорога тянулась, как фотография, так черно и уныло, и зимние ветки стыли в белом холодном небе.

Бланделл-холл был приземистая мрачная постройка из бревен и песчаника. У крыльца с каждой стороны лежал каменный лев с чело-

вечьим лицом и ехидно улыбался. Я прошел на зады, и мне конюх, который как раз выводил лошадь из оглобель, сказал, что господа-де в теплице за кухонным двором, а мне велено принесть фотографическую аппаратуру. Он, как увидел все эти склянки да поддоны, какие требовалось волочить, тут же ушел и воротился с тачкой.

Теплица была добрых сорока шагов в длину, и в ней давно ничего не растили, на длинных подмостях не было никаких горшков, а стояли разные статуи, все как есть в чем мать родила и обросшие паутиной. Мистер Бланделл был собиратель всяких таких вещей, про него даже в газетах писали в тот год, когда стали строить Дом моряков и принц Альберт закладывал первый камень.

Обезьяна очень меня удивила. Я думал, она втрое меня выше и дико мечется по клетке, а она оказалась с маленького совсем человечка и, скрючившись, привалилась к брусьям среди пожелтелой капустной ботвы и опилок Бояться тут было нечего; я даже ткнул ее пальцем. Шкура у нее была в проплешинах, и мутные глаза. От нее воняло старостью.

Уильям Риммер и Джордж разбирали свои инструменты. Ножницы разложили, щипцы,

свалили кучей ватные тампоны, поставили какую-то штуку из проволоки со спиральной пружиной, резиновый мешок с трубкой, сложенной кольцами в металлическом тазу, и бутылку с бесцветной жидкостью. Обезьяна смотрела мимо стола, туда, где стояла статуя с отнятой ногой. Мраморный мужчина, стало быть, и член у него — как розовый бутончик.

— Вона как, — сказал я. — Поди не больно много радости от него будет девчонке, а? Вот и обезьяна со мной согласная.

— Обезьяна почти слепая, — сказал Уильям Риммер.

Джордж, тот вообще ни звука не проронил, и это даже хуже. Мне самому противно сделалось, что выставил себя деревенщиной.

Через четверть часа примерно клетку отперли, и я вошел внутрь с ватой, намоченной эфиром. Я отводил подальше руку, чтоб у меня голова не закружилась, знал я этот эфир. Он входит в раствор коллодия, который наносят на фотографические пластинки, правда, я лично чаще пользовался выгодным покупным препаратом, из которого эфир улетучивается, чуть откроешь бутылку; мне уже щипало глаза. Обезьяна пятилась, но вообще-то вела себя смирно. Я извернулся и сзади шлеп-

нул ее этим эфирным тампоном по морде. Тут она жутко дернулась, поднялась на ноги, стала колотить руками, трясти головой и так въехала мне по лбу, что я чуть не грохнулся на пол. «Держись, брат, — крикнул мне Уильям Риммер, — не отодвигай тампон», а я и так держался — куда денешься, ведь раздавит она меня, — хоть совсем уже задыхался и сопли текли из ноздрей. Я ловил ртом воздух, как будто тону, и вот, как раз когда мне стало совсем невтерпеж, чувствую — все, не могу, зверюга оттолкнула меня, страшно взвыла и, царапая себе глотку, упала без памяти. Моча ударила по опилкам, брызнула между брусьев.

Мы обвязали пациента ремнями по груди и рукам и все втроем перетащили на стол. Я даже удивился — до того похожи были эти вывернутые руки-ноги на человеческие, стало даже жалко обезьяну. Голова свесилась набок, показалась шея, безволосая, сморщенная, как заношенная кожа. Когда проволочную ту штуку ей прикрепили к черепу и пружиной подняли веки, я хотел отвернуться, но Риммер гаркнул: «Не двигайся ты, черт тебя побери… прижми ей к ноздрям мешок», а Джордж прибавил: «Пожалуйста, Помпи», и мне это понравилось. Не часто он меня по имени звал.

Я почти не видел, что там было дальше, глаза слезились до жути. Ума у меня хватало их не тереть зараженными пальцами, хоть голова была легкая-легкая, как пустая. Пульс на шее грохотал барабаном, и сам я слышал, что глупо хихикаю.

Джордж орудовал ножницами, Риммер щипцами.

Лица они себе снизу завесили, мне это показалось смешно, разговор их тоже.

— Пациент готов, — тихо-тихо так сказал Джордж.

— Начнем? — спросил Риммер.

— Я как ты…

— Мне надо кашлянуть.

— Нет, потерпи.

— В правом глазу смещен хрусталик… зрачок узкий… Понадобится иридектомия.

— Готовимся проделывать отверстие, — сказал Джордж.

Мне было велено накачивать грушей эфир; не слишком много, потому что, меня предупредили, у бедной твари тогда остановится сердце, и не слишком мало, потому что тогда она проснется, станет биться и чересчур глубоко могут вонзиться лезвия. А еще мне полагалось следить за ее дрожаньем, щупать мышцы, а ничего я этого в

моем состоянии толком делать не мог, сам-то еле дышал, при каждом вздохе аж кричать хотелось от боли. Вдобавок меня мутило, и, не сомневаюсь, я был белее бумаги. Я в два счета оставил бы свой пост, да боялся, что не вынесут ноги.

Когда с безбожным деянием было покончено, обезьяну отнесли в клетку, и я кое-как, шатаясь, выбрался наружу. Меня скинуло с души, но на пустое брюхо ничего из меня не вышло, только одна провонявшая коньяком прозрачная жижа. Я еще толком не очухался, а Джордж уже велел вернуться в теплицу ширму ставить. Только я разгреб пыль и обломки, воздвиг, значит, этот вигвам, а он уже снова внутрь заглядывает и объявляет, что, мол, это не надо. Объясняет, что здесь чересчур много света. Тут он, конечно, был прав; кругом стекло сплошь, что так, что прямо на воле устроиться. И он послал меня сарай какой-нибудь найти.

Это оказалось не так-то просто, все службы были либо разным хозяйственным хламом завалены, либо до отказа забиты поломанными статуями, а они тяжеленные, не сдвинешь. Попалось мне что-то размалеванное, вроде как домовина, на попа поставленная, и деревянная обшивка вся снизу прогнила. И оттуда комом

торчат перепачканные бинты, изъеденные мышами, и три пальца высунуты, костлявые, как медового цвета. Тут-то я, кажется, понял, отчего Уильям Риммер решил податься в доктора, но, хоть убей, не мог сообразить, что повлияло на Джорджа, разве что маменькино лицо над люлькой, с круглыми, как шары, глазами.

Спасибо, конюх надоумил, показал вырытый под рододендронами ледник, шагах в двадцати всего от теплицы. Джордж этим остался доволен, я привез тачку, и мы начали покрывать пластинки составом.

Когда мы вернулись, обезьяна уже проснулась, и ей, кажется, хуже не стало после перенесенной пытки. Она сидела, сжимала руками брусья и качала головой из стороны в сторону, будто дивилась. Уильям Риммер в восторге, возвышенно, как проповедник, объявил, что пелена спала с ее глаз и теперь она отчетливо видит мир.

— Ловко, а? — Он хохотнул и шлепнул Джорджа по плечу.

— Куда как ловко, — согласился Джордж с довольной ухмылкой.

Я держал свое мнение при себе; ловко-то ловко, кто ж будет спорить, но что за радость от этого мира, если видишь его из клетки?

Когда пришло время фотографироваться, обезьяна повернулась спиной к камере. Я пробовал было кидать в нее камешками, но она хоть бы хны, и тогда я прогрохал ножницами по брусьям клетки. Плечи у нее дрогнули, но она не повернулась. И тут Риммер сообразил ей спеть. Голос у него был приятный, и он завел колыбельную не колыбельную, что-то вроде; и, ясное дело, это сработало, тварь повернулась, чтоб на него поглядеть. Джордж сделал пять снимков, последний, правда, испорченный, потому что обезьяну вдруг вырвало.

Воротясь в ледник, он проявлял снимки при слабеньком свете занавешенной свечки, каждую пластинку обмакивал в смесь пирогаллола и уксусной кислоты. А как доведешь каждое изображение до правильной плотности, надо его закрепить в растворе цианистого калия, и это была уж моя работа. Потом мне полагалось выносить поддоны и сливать на землю лишние химикалии, до того они вредные. Ну а я часто мыл в этих выплесках руки, пятна серебра сводил; Джордж чересчур, по-моему, осторожничал.

Ужинал я в людской, почти без охоты. Так болела голова, что кусок не лез в горло. Лакей один меня отчитал за то, что сел за стол с черными

пальцами. Мне было до того тошно, что я даже не мог обороняться и его не срезал. Одна женщина тут, оказалось, служила на Земляничных полях и знавала миссис Прескотт и ее дочек. Она меня стала пытать про мисс Энни, и я ей сказал, что она на четвертом месяце и на сей раз, видно, доносит. Она стала удивляться, как, мол, чудно, в детстве мисс Энни такая здоровенькая была, а теперь все хворает. Я сказал, что ничего тут чудного не вижу, случается и наоборот.

— А ведь он верно говорит, — сказала старуха рядом со мною, по левую руку, — гляньте хоть на Генри на нашего, — и она ткнула ножом в дальний конец стола, где сидел как бык здоровенный мужичище. — Скажешь разве, что дитем что былинка на ветру колыхался?

Тот же лакей стал дознаваться, на что нам сдалась обезьяна; он помогал переносить клетку в теплицу. Когда я его просветил, он смерил меня взглядом, этак презрительно, а потом говорит — вот уж никогда бы не подумал, что я помощник у доктора.

— А кто сказал, помощник, — говорю. — Я фотограф.

— Фото-о-граф, — он эдак протянул, — тоже не верится. Хотя, когда ты тачку волок, может, и

была от тебя польза.

Тут уж я вскипел, я крикнул, что наружность обманчива и что мой отец был джентльмен и таким остается, несмотря на стесненные обстоятельства. Я видел, что он мне не верит, и обрадовался, когда его кликнули наверх. Папашу моего, так мне говорили, зачислили в Ланкаширский кавалерийский полк за два месяца до моего рождения и сразу же отправили в Индию. Так он с той поры и не вернулся, насколько мне было известно, — то ли по своей охоте, то ли не поладил с Творцом.

Вечером Джордж меня хватился. Ясно было, что он как следует заложил за галстук, язык у него заплетался. Сказал, что заночует здесь, а я чтоб ехал один. Риммер ему поутру даст коня. И пусть я держусь большой дороги, на берегу могут напасть головорезы. Я-то понял, что это он о своем бесценном аппарате хлопочет, а вовсе не обо мне.

— Если жена моя нездорова… — начал он и запнулся.

— Я за вами вернусь, — подсказал я.

— Возможно…. — Он совсем запутался. На лице у него была мука, пухлые губы уныло по краям сникли. На нем сейчас все как есть было написа-

но, пропащий он человек Наконец он решился, буркнул:

— Нет, ничего не надо. Я до завтрака ворочусь.

Я его чуть не пожалел. Годами был под каблуком у матери; теперь вон с другой бабой мается. Миссис О'Горман считала, что это стыд и срам, но я-то догадался, что просто ему нравится из себя строить святого мученика.

Не прошло и пяти минут — я на дворе складывал аппараты, — он послал мне сказать, чтоб все-таки я его обождал. Семь пятниц на неделе, другого я такого не видел. Наконец явился — еле шел, Риммер его чуть не на себе волок, — объявил, что полезет в карету, там раскидал все, что я только-только кое-как уложил, и в результате забился в уголке под складками ширмы. Небось уснул, пока мы еще за ворота не выехали.

День совсем убывал, когда я выехал из Холла. Сразу же за деревьями я пустил лошадь в галоп, колеса кренились на рытвинах, ветер вздувал на мне одежу, выдувал из головы моей боль. В вышине над полями, как по белому скользкому льду, катили по небу черные тучи. На душе у меня была тоска оттого, что этот лакей меня поставил на место, я ругал себя, что клюнул на его наживку, но могучее небо меня ободрило, меня охватил

вдруг какой-то даже восторг. Сердце радовалось, что Джордж лежит бесчувственный среди поддонов и склянок «Вот ужо! — крикнул я громко и встал на вожжах, как колесничий. — Ужо…»

Когда мы спустились к дюнам, был прилив, море накатывало на пустынный берег, солнце кровавым шаром падало за горизонт. Я пустил лошадь спокойной рысцой на желтую дымку далекого города.

На полпути между Ватерлоо и Сифортом нам попался старик у костра, он жег сплавной лес, над головой у него метались искры. Я взял было мимо, но едва поравнялся с ним, из кареты раздался отчаянный стук, и пришлось мне остановиться. Джордж изволил проснуться.

Если он и разозлился, что очутился в песках, то виду не подал. Может, его увлекла вся эта красотища — меркнет пустынный берег, ветер вздувает пламя, дерево в костре щелкает, трещит, перекрывает свист напористых волн. Так ли, иначе ли, он спросил у старика, можно ли присесть к его огню. Сказал, что продрог до костей; в своей хлопающей одежке он и вправду трясся так, будто его колотит горячка.

Старый чудила не сразу ответил. Он, я заметил, глянул проверить, под рукой ли его здоровенная

клюка. А потом сказал Джорджу: почему же, мол, милости просим, только чтобы с поведением, — просто потеха.

Он был болтливый, этот старик, а Джордж перед ним стелился, величал его сэром, а меня никогда, хотя, может, тут в годах все и дело. Я сидел в сторонке, смотрел, как отступают сумерки, как взбирается по небу месяц. Я думал про Миртл, как сидит она в классной комнате там, далеко за бухтой, чирикает по-иностранному и учится падать в обморок, если тявкнет погромче какой кабыздох.

Раньше старик рыбачил, ловил угрей, он рассказывал, возил в Уинд, там пирогами торгуют, берут для начинки, ну а потом — сколько лет уж тому — напился как-то мертвецки, вышел в большую волну и размозжил свою лодку у Рок Ферри. Старшие дочки было его призрели, и скитался он от одной к другой, от порога к порогу, вспомнить грех. В этом смысле, Джордж сказал, он очень напоминает одного короля — и тут ясно стало, до чего он нализался. Наконец старик решил приклонить голову у младшей, в пристройке к кузнице, теперь он весь в ее власти, вот и спит под открытым небом. У ней — как у матроса язык, раки-странники здесь, на берегу, не так больно

укусят, как жалит ее язык.

— У ней шестеро, мал мала меньше, — сказал он как бы ей в оправдание. — И без мужа живет, сама себе голова.

— Жизнь жестока, сэр, — поддакнул Джордж и подпихнул головешку в костер, так что вовсю посыпались искры.

— Коли сызнова жизнь начинать, — сказал старик, — я бы в солдаты пошел. Там тебе пенсию платят.

— И зато снабжают тебя прекрасной возможностью быть убитым, — сказал Джордж, на что старик ему ответил, что есть и похуже способы покинуть сей мир, чем пуля тебя поцелует, миг — и вся недолга.

Мы распрощались. Истинный философ — так назвал его Джордж, и он плюхнулся на четвереньки при третьей попытке взобраться ко мне на козлы. Я запихал его в карету — расшибет еще свою забубённую башку, а я потом отвечай. Когда я стал закрывать дверь, он схватил меня за руку и хотел втащить к себе. Выражения его я не видел, была ведь ночь, но в голове у меня напечаталась его хитрая улыбка, совсем как у тех не людей — не зверей, которые охраняют вход в Бланделл-холл.

Я у него уже один раз видел такое лицо, это

когда мы уложили его отца, а Миртл послали за водой на кухню. Он меня благодарил за помощь, говорил, что я необыкновенно толковый для моих лет и он, мол, вовек не забудет ни моей доброты, ни моей скромности. Я такой тонкий, он говорил, что не способен извлечь выгоду из сложившегося положенья. Он это говорил совсем искренне, и его слова очень меня удивили. Я, между прочим, до тех пор только и думал, как бы из него выжать пять шиллингов, перед тем как уйти. Мы стояли по обе стороны кровати, между нами — его мертвый отец, и была такая странная минутка, когда я вдруг возомнил, что я и в самом деле такой необыкновенно прекрасный и тонкий. «Ты хороший мальчик», — он пробормотал, и тут он встал коленом на одеяло, приподнялся и потянулся рукой к моей щеке. Я мигом сообразил, что у него на уме, и выскочил из комнаты. Мне такое было не внове, так что пугаться мне было нечего, и, если бы он не стал приплетать свою лесть, я бы, может, ему и уступил — этот грех распространен во всех слоях общества, правда, я так замечал, богатые ему уступают по своей охоте, а бедные из нужды. Вот то, что он меня надул, заставил поверить, что я лучше, не такой, как я есть, вот что меня допекло. Доктор Поттер выходил из

гостиной, когда я сбегал по лестнице. Я вцепился в перила и ждал, что будет. Он меня раньше ни разу не видел и мог, очень даже мог меня принять за вора, по крайней мере, хоть поинтересоваться, зачем я пожаловал, но он только глянул на меня и, мне показалось, все понял по моим глазам. Я никак не мог справиться с засовом; он подошел, его отодвинул и меня выпустил.

На часах Обзорной башни было без нескольких минут семь, когда мы поднялись на гребень холма за бульваром и свернули в Ежевичный проулок. Джордж у себя в карете во всю глотку орал «Матушка родимая, смерть моя близка». Странно — когда мы стали и он спрыгнул на дорогу под лунным лучом, он произнес те же самые слова похвалы: «Ты хороший мальчик», — только на сей раз — поздновато, по-моему, — уже, кажется, от души.

Я, конечно, и в ус не дул, думал, что вышел сухим из воды, улик против меня никаких ведь не было. Но ко мне подступился доктор Поттер, и так хитро подступился, он же насквозь человека видел.

Он поджидал Джорджа и отозвал его в кабинет, только-только мы переступили порог. Я тут же вышел, чтоб заняться разгрузкой, а когда вер-

нулся с треногой и ширмой, Джордж вылетел из комнаты и, впереди меня, бросился вверх по лестнице. Я снова спустился — доктор Поттер стоял в прихожей и пристально на меня смотрел. Он сказал:

— Помпи Джонс, я хотел бы с вами переговорить, когда вы разгрузите карету.

При первом же взгляде на его лицо я понял, что дело неладно; у меня ёкнуло под ложечкой. Как ни спущусь, он все стоит, все смотрит. Наконец мне уже нечего было таскать, и я стал водить по двору лошадь, но тут он выходит на крыльцо, велит мне оставить все дела и немедля идти в комнаты.

Я прошел за ним в кабинет. Сердце у меня колотилось. От эфира небось, не только от дурного предчувствия. Он не сразу взял быка за рога, откашливался, перебирал на жилетке пуговицы. Толстые — они по большей части выглядят идиотами, когда на себя серьезность напустят, но только не доктор Поттер. Я все твердил про себя, что я же ничего такого худого не сделал, но глаза его меня убеждали, что нет, сделал кое-что.

В конце концов он сказал:

— Мне небезызвестно то положение, какое вы заняли в этом семействе… и, быть может, сами

мы во всем виноваты. Я не убежден, что вы получили здесь необходимое руководство…

— Я здесь только одну доброту и видел, — перебил я. Я не притворялся. С ним этот номер бы не прошел.

— Очень и очень возможно, — сказал он. — Вы явились здесь почти мальчиком… — Он помолчал, и глаза его рыскали по моему лицу. Я потянулся рукой к губе, прикрыть то багровое пятно, как будто оно вернулось. — Но вы теперь взрослый человек, мужчина, — сказал он. И опять он замолчал.

— Да, — сказал я. — Похоже на то.

— Мужчина, — повторил он. — А мужчина несет ответственность за свои поступки, пусть даже учиненные по невежеству или в полной невинности.

— Вы бы лучше сказали, в чем дело-то, — сказал я, задетый этой его ссылкой на невежество.

И он меня просветил. Рано поутру миссис Харди пошла в столовую за рукоделием, которое с вечера оставила там на столике.

— Занавеси еще не раздвигали, — сказал он, — и шкура в сумраке ей показалась живой и свирепой…

— Шкура, — крикнул я. — Какая еще шкура?

— Вне себя от ужаса, — прогремел он, — она бросилась бежать и споткнулась…

— Споткнулась, — эхом отозвался я.

— Она ударилась о стену. Итог — перелом запястья. Но это не все…

Я стоял немой, как пень, но лицо у меня горело от стыда. Я на самом деле угрызался.

— Можно вылечить перелом, — сказал он. — Но как вернуть разбитые надежды? Вы меня поняли?

Я не понял — тогда я не понял, — но я кивнул.

— Сначала, — продолжал он, — все приписали нерадивости Лолли. Но миссис О'Горман ее взяла под свою защиту. Она сама проверила комнату, прежде чем отойти ко сну, и все было в совершенном порядке. Она сказала, что вы были в доме на рассвете.

— Мне велели прийти, — защищался я. — Мастер Джорджи велел. И ничего я ни про какую шкуру не знаю.

Миссис О'Горман плакала, когда я уходил. Отчасти оттого, что молодая миссис Харди опять выкинула, отчасти из-за меня. Причитала, что она не перенесет этой разлуки. Я сказал ей, чтоб не убивалась, все обойдется. «Никуда ваш Джордж от меня не денется, — я сказал. — Вот увидите».

Я шел домой под густыми звездами. Я не падал духом. Век живи — век учись, я так рассуждал.

Пластинка третья. 1854 г Превратности войны на водах Европы

Злосчастное свое путешествие мы начали 27 февраля, выплыв из ливерпульских доков на «Камбрии», судне Кьюнардской компании. Я определяю нашу экспедицию в столь безнадежных терминах по причине участия в ней женщин и детей, не говоря уж о няньке и горничной, якобы необходимых для ухода за ними. Сперва предполагалось, что едем только мы с Джорджем и Миртл. Я чувствовал, что, если разразится война, которая с каждым днем представлялась все вероятней, оба мы можем пригодиться, он в качестве хирурга, я — как наблюдатель. За двадцать лет до того мне уже пришлось осматривать Крым, Балаклаву, береговую линию, и даже издать на собственные средства статью о строении степного песчаника, распространенного в западной части Ногайской степи. Итог — решительно ни малейшего отзыва, но, впрочем, сейчас речь не о том. Миртл мы собирались взять с собой просто потому, что она не в состоянии выпустить из

виду Джорджа.

Когда именно Джорджа склонили взять с собой Энни, от меня решительно ускользает. За два года перед тем была эпидемия холеры, и, боясь ее повторения, она доказывала, что для детей будет безопасней на лето покинуть город. Никто не спорил. Она, как я понимаю, написала к тетушке, у которой дом на Англси подле Менайского пролива[5], испрашивая разрешения у нее погостить, и с возвратной почтой получила ответ в том смысле, что ей будут рады, равно как и моей Беатрис. Сколько мне известно, женщины были обе вполне довольны такими видами. И вдруг ни с того ни с сего за две недели до отплытия Джордж, помявшись, объявляет, что Энни тоже едет. «Она настаивает, Поттер, — сказал он. — А в моих обстоятельствах — как я могу ей отказать? В конце концов, она моя жена». Подозреваю, тут Миртл приложила руку — из-за детей.

Тщетно толковал я Энни о суровом климате, морозных ночах и буйных веснах, палящем июле и августе, о выжженной растительности, о мухах — она и слышать не хотела. Наивный осел, я даже всучил ей книгу на сей предмет, которую она

---

[5] notes: 5
Этот пролив отделяет остров Англии от Уэльса.

приняла из моих рук так, как берут расколотый стакан, и положила в гостиной на каминной полке, где она и пребывала неоткрытой. Да, у меня доказательство есть. Энни имела пристрастие к засахаренному миндалю, бедная Лолли вечно сметала с мебели сахар. Закладка, которой я отметил соответственные пассажи — пересыхающие русла рек и прочее, — так и осталась незыблемой на девственной странице. Надо ли упоминать, что, если Энни стала участницей экспедиции, нельзя было не включить и Беатрис.

Наша «Камбрия» была до того набита, что осела ниже ватерлинии; на борту было две сотни солдат, четыре механика, ветеринар и представитель торгового департамента Ливерпуля, которому надлежало на месте определить, какие срочные поставки могут сразу понадобиться в случае войны. «Патриотический долг граждан Ливерпуля, — уведомил меня сей джентльмен при первой возможности, — жертвовать всем ради поддержки армии». Фамилия его была Нотон, и более гнусного и раболепного субъекта и представить себе невозможно. Я несколько раз с ним спорил за время пути и составил суждение, что веления презренной пользы, а никак не патриотизм воспламенили в нем это его чувство долга.

Погода нам благоприятствовала на первом галсе нашего пути к Мальте, хотя вы бы этого никак не сказали, услышав жалобные стоны и охи Беатрис. В первые три дня ничего не произошло, достойного упоминания, разве что судовая сука — колли — произвела на свет восьмерых щенков. Миртл потребовала пометить по ушку самого хилого из помета — для деток. Им полезно будет, она объявила, опекать что-то такое беспомощное и малюсенькое. В тот же вечер так называемая жена одного из солдат разрешилась девочкой. Спасибо, младенец умер три часа спустя, не то Миртл заставила бы нас и на него распространить свои заботы.

На борту нас потчевали дивной пищей. Не будет преувеличением сказать, что ели мы как короли. На завтрак подавали голубей, бифштексы, паштеты, всевозможными способами приготовленные яйца — омлеты, вкрутую, гоголь-моголь, глазуньи. Этот пир сервировался в восемь часов ровно. Двое механиков и, по воле злополучной моей судьбы, противный Нотон обыкновенно составляли мне компанию. Ни Джордж, ни женщины к завтраку не выходили. Джордж — оттого, что слишком много пил накануне; бедняжка Беатрис, которая так бодро и так настойчиво рвалась

бороздить моря, теперь за это расплачивалась, торча, едва живая, в каюте и получая облегчение лишь тогда, когда Миртл вытаскивала ее наверх и, совершенно зеленую, прогуливала по палубе. Возможно, я был жесток — видит Бог, Беатрис давала мне слишком много поводов для этого, — но я придерживал язык. При всех недостатках, на нее можно положиться, особенно по части тех тайных услуг, какие требуются от жены. В отличие от Энни Беатрис исполняет супружеский долг с удовольствием и трогательно вносит свою долю вдохновенья в минуты наших блаженных кувырканий.

На четвертый день пути стало очевидно, что Нотон не на шутку увлекся Миртл. Она, как всегда, ничего не замечала, а ведь он просто ей проходу не давал. Миртл не в первый раз вызывала трепет в мужественной груди, хотя Нотона, сказать по правде, даже при самом разнузданном воображении трудно отнести к разряду мужественных. Его увлечение Миртл меня удивляло. Вот уж я бы не подумал, что у него на это достанет проницательности; такой пустой малый, мне казалось, должен быть падок до более очевидных чар — розовые щечки, сияющие глазки, пышная грудь et cetera. А тут девушка небольшая, бледная,

плоская как доска, угрюмые глаза, не зеленые, не карие, и уныло сложенный рот. Правда, если с Миртл разговориться или видеть, как она играет с детьми, как она улыбается, — тогда дело другое. Тут было просто колдовство какое-то. Беатрис ее обожала, и даже Энни, у которой, видит бог, были все основания ее ненавидеть, дарила ее всеми знаками искренней преданности.

Нотон, совершенно ошалев, до того дошел, что отвел как-то Джорджа в сторонку и открыл ему свои чувства. «У вас очаровательная сестра, — так, не вполне впопад, он выразился. — Воображаю, какая у ней бездна поклонников». На что Джордж опрометчиво отвечал, что есть у нее лишь один, и она с ним обручена, и он ее ждет в Константинополе, чтобы с ней соединиться.

Я говорю «опрометчиво», потому что было весьма вероятно, что Нотон будет вертеться рядом, когда мы достигнем места нашего назначения, и что же Джордж намеревался тогда делать?

— Не собираешься ли ты нанять юного гусара на роль возлюбленного? — спросил я его.

— Когда приедем, тогда и видно будет, — отрезал он, а потом так пил до самого ужина, что забыл предупредить Миртл о надвигающейся свадьбе.

Итог — за ужином влюбленный Нотон вдруг повернулся к ней и во всеуслышание брякнул:

— Счастливый человек ваш избранник, мисс Харди.

Эффект, какой произвело в нашей части стола это поразительное открытие, был поистине комичен. Энни, нацелившаяся вилкой на корочку пирога, застыла, открыв рот и подняв свое орудие. Бедняжка Беатрис, которая уже работала челюстями, подавилась куском и задохнулась бы, не догадайся ветеринар постучать ее между лопаток Одна Миртл осталась безмятежна; глядя прямо на онемевшего Джорджа, она ответила:

— Вы очень добры, мистер Нотон, но, уверяю вас, это я счастливый человек.

Уж не знаю, что она потом говорила Джорджу. Ничего, надо думать. Джордж ни в чем и никогда не мог быть виноват. Если когда была на свете женщина, ослепленная любовью, — так это Миртл. Как-то я попросил ее удержать Джорджа от пьянства, которому после кончины отца он стал не в меру предаваться.

— Кто я такая, чтобы вмешиваться, — она ответила. — И ему же надо отвлечься.

Я, признаться, даже спрашивал себя, уж не предпочитает ли она его в подпитии: быть может,

так упрочивалось ее влияние. Джордж убивался несколько больше, чем было необходимо при обстоятельствах отцовской смерти. Хотя доверился он мне лишь несколько месяцев спустя, я уже имел кой-какие догадки, что все случилось не так, как могло казаться. Родственник старой миссис Харди, некто капитан Таккетт, явился в дом в самую ночь события, так вот он мне рассказал, что Джордж вечером перед тем был в самом жалком положении, трясся, нес несусветицу, бормотал почему-то про Панча и Джуди. Ну и потом, конечно, это внезапное водворение Помпи Джонса — утиного мальчишки, как упорно именовала его Миртл, — не говоря уж о собственном ее необъяснимом и странном возвышении: этой отсылке в пансион — будто она дочь семейства.

Миртл теперь была необходима. Старый мистер Харди был мошенник и стервец, и, как это бывает с сыновьями таких людей — тонкими юношами, Джордж совершенно соответственно его любил и боялся. Не будет натяжкой сказать, что Джордж поместил его на пьедестал, и притом довольно высокий. При падении мистера Харди с высоты — они разбились оба. И теперь Миртл суждено было убеждать Джорджа, что он не распался на осколки.

Спустя несколько дней, когда я слонялся по палубе, озирая однообразный простор неба и волн, ко мне прицепился Нотон и завел дурацкий разговор об изготовлении скрипок; какое дерево лучше et cetera. Он их производил, имел процветающее дело, он хвастал, в двух шагах от таможни. Я не любитель музыки, правда, однажды, во время торжеств, посвященных открытию Альберт-дока, мне посчастливилось присутствовать на фортепьянном концерте, неожиданно оживленном тем, что пианист сделал сальто со сцены.

Нотон был достаточно неприятен, когда молол свою непрошеную чушь про инструменты, но скоро стал и вовсе невыносим; он имел наглость поделиться со мною своими соображениями о надвигающейся войне. Невежество его в истории меня бесило, сужденья были плоски. По его мнению, дела наши *были в надежных руках.*

— И тут вы разумеете, я полагаю, — сказал я, — тех шутов, которым лишь титулы и богатство дали власть в правительстве и в армии?

— Шутов… — пролепетал он.

— Идиотов, ничтожеств, — пояснил я. — Никакое уважение к древним традициям, никакое чинопочитание, пусть самое искреннее, не сде-

лают человека невежественного пригодным для высоких постов.

— Невежественного? — возмутился он. — Лорд Абердин, герцог Ньюкаслский, лорд Рассел, лорд Раглан…

— Нехватка людей образованных, — разразился я, — стала причиной всех наших бед на востоке. Что они знают об огромной Оттоманской империи? Члены нашего консульства, все сплошь аристократы, живут там в своих чертогах так, будто Темза течет у них под окнами. Приемы в саду, парады, посещения опер — вот и все их заботы. Стоило ли ехать так далеко от Букингемского дворца… Какие рапорты они посылали о климате, территории, об ископаемых, о хозяйстве, о состоянии дорог?

Я уже просто кричал. Он выглядел оскорбленным, это мне было лестно.

— Вы с собой захватили, надеюсь, образцы строительных материалов, чтобы показать возможным покупателям, — продолжал я. — Кирпич… камень et cetera. Там, знаете ли, очень мало дорог.

— Не захватил, — процедил он сквозь зубы.

— Помяните мое слово, — сказал я. — Там будет большой спрос на кирпич… и никакого на

скрипки… если только вы не рассчитываете, что Севастополь падет от звуков музыки.

Я думал, что поставил его на место и теперь он отвяжется и оставит меня в покое. Ничуть не бывало; пристал ко мне как репей. Неловко, когда по пятам за тобой таскается человек, которому ты нагрубил. Я готов уже был пуститься в рассуждения о волнах, облаках, их движеньях, особенностях очертаний et cetera, но тут он сказал:

— Мистер Поттер, а какое положение у того молодого человека, за которого выходит мисс Харди?

— Положение?..

— Ну да. Какое у него занятие?

— Война, — сказал я. — Он капитан Одиннадцатой гусарской бригады.

И тут уж он от меня отлип, ибо кто же может соперничать с блистательной Легкой бригадой, пусть даже и вымышленной?

На тринадцатый день мы вошли в гавань Валетты. Невозможно было уломать Беатрис оставаться на борту те двадцать четыре часа, которые требовались для загрузки углем и пополнения припасов. Она хотела спать на твердой земле, в этом она была непреклонна и даже не

уловила шутки в моем замечании, что в таком случае ей придется спать на валунах.

— На всем острове нет ни крупицы почвы, — сообщил я ей.

— Чушь, — отрезала она, показывая на поля, золотящиеся над гаванью.

— То есть *естественной* почвы, — растолковывал я. — Эта вся завезена из Сицилии и еще откуда-то. Мальтийские рыцари пускали суда в гавань только при условии, чтобы им платили пошлину гравием и грязью.

— Что за чушь, — не сдавалась она. — Чего-чего, а грязи, куда ни сунься, везде хватает, — и настояла на том, чтобы я подыскал для них с Энни гостиницу.

В тот вечер мы долго бродили по улицам всей компанией; женщин увлекала пестрая толпа, запрудившая узкие переходы. Я нашел здесь все сильно изменившимся за два десятилетия, прошедшие с моего первого визита. То, что взгляду юнца, прельщенного причудливой архитектурой, экзотическими одеждами арабов, нубийцев и иезуитов, казалось тогда оплотом старины, теперь предстало вульгарным, пошлым, и, увы, весьма заметно ощущался английский новомодный и тлетворный дух. Время от времени дамам

приходилось подбирать юбки, дабы их спасти от выплесков солдатни, которая, вывалившись из кабаков, тут же на улице и облегчалась. Перемены эти меня расстроили, я чувствовал гнет своих лет.

— Когда я приехал сюда впервые, — сказал я Беатрис, — волосы у меня были рыжие…

— Знаю, — сказала она, — я еще застала кой-какие прядки. Седины уж и то лучше.

Перед обедом мы наняли ослов и вихляющими тропками, мимо пышных садов, под сенью финиковых пальм добрались до ячменных полей, золотисто подмигивающих солнцу. Дети, спускаемые наземь, ковыляли в пыли и раскачивались в такт мерно наплывавшему из города нежному колокольному звону. Их мать, вдали от любопытных глаз, осыпала их щечки поцелуями и тихо им что-то напевала.

Я ночевал в гостинице вместе с Энни и Беатрис. Лишний расход, конечно, но мне не спится, когда я не чувствую ее тепла у себя под боком.

Мы выходили в море на другое утро, и за завтраком разговор шел о неизбежности войны. Через день-другой три французских транспорта, не

меньше, зайдут в гавань en route[6] к Галлиполи, уже для торжественной встречи объявлен сбор стрелковой и гвардейской бригад — сведения эти принес на хвосте Нотон, накануне ужинавший на батареях. Один механик, слову которого можно верить, имел сведения, что после нашего отъезда из Англии в Вулидже собрали обоз из восьмидесяти тяжелых орудий. Чего же я и ожидал? — но эта новость меня повергла в уныние; на войне, я убежден, нет иных победителей, кроме Костлявой.

Третью ночь нашего пути в Константинополь я провел на палубе, чуть не силком вытащив за собою упиравшуюся Беатрис. Когда я щекоткой ее разбудил на рассвете, ей пришлось-таки признать, что матрас и одеяла под звездами во многих отношениях удобней и приятней, чем наша тесная каюта.

Не одно только внезапное устремление к природе погнало меня на палубу; мне захотелось еще разок взглянуть на место обитания отшельника Малеи, бородатого пустынника, который, тому полвека, построил скит на самом краю мыса, чтобы с этой выигрышной позиции, сидя по-ту-

---

[6] notes: 6
По дороге *(франц.)*.

рецки, наблюдать волненья океана. Двадцать лет назад суда и яхты имели обыкновение, подав предупредительный сигнал свистком, спускать лодки, груженные галетами, маслом и солью, и эти припасы, если позволяло море, доставлялись на голую скалу под его жилищем.

— Согласно легенде, — просвещал я далее Беатрис, — он явился из Афин, где жил прежде богатым судовладельцем. В точности как у тебя, любовь его к морю, — тут она в меня метнула взор, который человека менее закаленного испепелил бы на месте, — была столь велика, что он всегда сам вел один из своих кораблей. И трижды корабль, который он вел, сбивался с курса… по вине шального ветра… и разбивался о скалы мыса Малеи.

— Какие скалы? — перебила она. — Никаких я не вижу скал.

— Там они есть где-то, — уверил я ее. — В отчаянии и чтобы искупить свою вину перед потонувшими матросами, он дал обет удалиться от мира.

— А свистки на что? — спросила она. — Если он только и делает, что пялится на горизонт, он же и без них суда увидит.

— Отшельник, пустынник, — возразил я, — на

то и называется так, что прячется в пустыни, в пустынном месте. Ему нужно время, чтобы спрятаться. Отшельник не может без конца устраивать приемы.

— Ну, сейчас он определенно спрятался, — с раздражением заметила моя супруга, подрагивая у перил и щурясь на отуманенные воды. Чуть погодя она объявила, что соленые брызги ее огрели по губам, и направилась вниз.

— Не уходи, — взмолился я. — Мне так приятно, когда ты рядом.

— Нет, — отрезала она. — Я вот подумываю, не стать ли и мне отшельником.

И, выпустив эту прощальную стрелу, она ушла. Я так и не увидел ни промелька земли, хоть битый час не оставлял своего поста, глядя на скачущие волны и с тоскою вспоминая давно минувшие холостяцкие дни.

Многое может нас вывести из колеи — смерть близких, утрата дохода или здоровья, внезапное открытие, что давно лелеемым надеждам не суждено сбыться. Что же до меня, ничто меня так не потрясло, как манифест новых наук, «Основы

геологии» мистера Лайелла[7]. Мне было двадцать два, когда впервые я это прочитал. Итог — я навсегда стал другим человеком. Эхом отзываясь на чувства мистера Рёскина, я часто жаловался Беатрис: «О, эти страшные молоты! Они ударяют по каждому слогу Библии»[8].

Мой ум был потрясен не столько тем, как ловко Лайелл разделался с волшебной сказочкой о сотворении мира, сколько его утверждением, что суша и вода меняются местами постоянно. Так наше северное полушарие, некогда усеянный островками огромный океан, может, он утверждал, вернуться к изначальному своему виду, пусть и в весьма далеком будущем. Мысль не очень утешительная. Тут и так-то вечно маешься от переменчивости собственных чувств и настроений, порой не знаешь, на каком ты свете, а если и Земля непостоянна — это, согласитесь, несколько уж слишком.

Я никогда не чувствовал себя более уверенно,

---

[7] notes: 7

Чарльз Лайелл (1797–1875) — английский естествоиспытатель; в упоминаемом труде противопоставил теории катастроф учение о непрерывных изменениях земной поверхности. Сторонник теории эволюции Дарвина.

[8] notes: 8

Из письма Джона Рёскина (1819–1900), английского писателя, теоретика искусства. Речь идет о географических молотах; в викторианскую эпоху был предпринят ряд раскопок с целью опровержения Библии.

чем в ту нашу первую неделю в Константинополе, ибо ничто так не умиротворяет женщин, как вечные экскурсии, званые обеды и поздние светские ужины. Тут я, разумеется, исключаю Миртл, которая прилежно таскала детей на берег по утрам и вечерам, хотя это, кажется, совсем не так было для них полезно, как она воображала. Когда мы вошли в порт, Беатрис первая заметила мрачность атмосферы. Мне говорили, что султан издал приказ, согласно которому все суда должны сами уничтожать собственную копоть, — если так, эффект от его приказа был ничтожен. «Похоже на Ливерпуль, — заметила Беатрис, — если на него смотреть с другой стороны Мерси»[9].

Удивительно, как быстро приспособились женщины к новой для них обстановке. То, от чего дома они попадали бы в обморок, здесь им казалось не более чем оригинальным. Едва было установлено, что возвещавший каждый рассвет пронзительный вой — не жужжание гигантского москита, но призыв муэдзина к молитве, Беатрис тотчас потребовала открыть все окна, чтобы лучше слышать этот звук «До чего мелодично», — бормотала она в прямом несо-

---

[9] notes: 9
Река, в устье которой расположена ливерпульская гавань.

ответствии с истиной. Даже гостиница — если точней, большой сарай, лишенный примитивнейших удобств, — не вызывала ни малейших нареканий.

Тут помогало, думаю, то обстоятельство, что все мы были, так сказать, в одной лодке, город кишел англичанами, и в нашей лихорадочной суете мы не оставались одиноки.

Случайные знакомцы, которые в рассчитанных пределах отечества могли бы встретить разве небрежный кивок, здесь попадали в число сердечнейших друзей в течение суток.

— Но это же прощелыга, — сказал я Джорджу, когда он привел к нам за стол молодого человека, неприличие которого было крупными буквами написано на лбу. — Дома ты к нему на пушечный выстрел бы не подошел.

— Мы не дома, — отрезал Джордж. — И он, по-моему, забавный.

— У нее сомнительная репутация, — сказал я Беатрис, когда, следуя примеру Джорджа, она завела тесную дружбу с некоей миссис Ярдли, прибывшей из Англии в обществе гвардейского полковника. — Она с этим господином в явной связи, не осеняемой брачными обетами.

Но Беатрис сказала, что едва ли именно нам

пристало в нее бросать первый камень. И, признаться, мне нечем было крыть.

Военные известия озадачивали сбивчивостью. Сразу по прибытии нам рассказали о блистательной победе турок и заверяли, что угроза конфликта миновала, но на другой день оказалось, что герцог Кембриджский и лорд Раглан уже на пути к Мальте, с тем чтобы объявить войну. Многие среди нас — всё спекулянты, которых мистер Нотон служил ярчайшим образчиком — хотели верить последнему известию. Тем временем мы продолжали нашу увеселительную прогулку.

Из всех наших многочисленных забав танец дервишей ярче всего запечатлелся в моей памяти благодаря своей сверхъестественной глупости. Мы видели его в Пера, в маленькой, прилегающей к гарему мечети. Нам отвели места на галерее, и мы сверху смотрели на кружок мужчин, облаченных в долгополые одежды и конусообразные шапки, скорее подобающие ведьмам. В середине сидел первосвященник — глаза закрыты, будто он спит, да и кто бы мог его упрекнуть за это? На противуположной галерее некто длиннобородый в шелковом платье решительно женского покроя (Беатрис шепнула: какая прелесть!) бил в бубен,

издавая по наитию дикие вопли. Час или даже больше мы осуждены были слушать их монотонные молитвы. Я уже терял сознание от скуки, как вдруг эти дервиши повскакали на ноги — все исполинского роста, — сбросили верхние одежды и обувь и начали плавно переступать, церемонно кланяясь первосвященнику и друг другу. А затем — ни с того ни с сего — кружиться, кружиться, как волчки. Ничего глупей и представить себе невозможно: они оказались в беленьких нижних юбочках и, с поднятыми над головой руками, больше всего напоминали гигантские кружащиеся колпачки для тушения свечей. И тщетны были все усилия угомонить зашедшуюся в хохоте галерку.

Потом Энни, Беатрис и миссис Ярдли удалось попасть в гарем, где их принимала мадам Кязим, красившая свои вороные локоны под цвет куриной слепоты и прочитавшая, по слухам, целый французский роман, весь от начала до конца. Других женщин не наблюдалось. Скоро рабыня подала воду в стаканах и блюдо с цукатами. За каковое угощение мадам Кязим потом, так и не подняв взора от книжки, истребовала мзды.

За всей этой неутомимой праздностью и безоглядной дурью сквозили мне черты лихорадоч-

ного веселья, окрасившего, верно, последние дни Рима. Как этих дервишей, несло нас вихрем от развлеченья к развлеченью. И на одном пикнике, покуда женщины щебетали стрижами, меня с такой силой охватило предчувствие неминучей катастрофы, что пришлось подняться на скалу поодаль. Я смотрел вниз, туда, где мерцали среди кипарисов купола и минареты, и в мысли мне непрошено прокрались строки: «Сегодня мы одолели двадцать четыре мили, еще сорок восемь одолеем завтра. Но кто выдюжит гонки со смертью?» Вдали, под лазурью неба, узкие стрелки Босфора и Золотого Рога, тонко смешавши воду с сушей, указывали на Черное море.

Когда в тот вечер мы вернулись в гостиницу, нас встретили два скверных известия; первое — если считать, что личное, а не всеобщее обладает первостепенной важностью, — касалось Миртл. В наше отсутствие дети затосковали по своему новому щенку, которого пристроили в гавани. Его доставили, выпустили во двор, и, перепугавшись шума шагов, отдаваемых гулкими плитами, он попятился, скользнул за открытые ворота, и собаки, свирепыми стаями рыскавшие по улицам, тотчас растерзали его в кровавые клочья. К счастью, дети — старшая топотала на

шатких ножках, меньшой сидел у няни на руках — были далеко и не видели этого ужаса.

Миртл сразу метнулась за щенком, все увидела и упала без памяти. Зная ее силу и недюжинный характер, мы бы и вообразить такое не могли, но увы — хозяин гостиницы бросился за нею следом и все это засвидетельствовал. Когда она очнулась, мистер Нотон и неизвестный в военной форме ей помогли уйти с места кровопролития.

Второе известие, не на один день просроченное, было о том, что Англия объявила войну России.

Неделю целую, последовавшую за роковой вестью, нам пришлось быть свидетелями тошнотворнейшей демонстрации патриотического пыла. Пушки палили с тех судов, которые уже вернулись в гавань якобы после разгрома Севастополя. Гостиница «Мессиери» стала главной явкой англичан, и все они жестикулировали, как иностранцы. И раньше-то не стоило выходить после наступления темноты, чтоб не наткнуться на пьяную солдатню, теперь это стало опасно не на шутку. Часто по ночам будили нас булькающие вопли несчастного, которому перерезали глотку. Поневоле сидя взаперти, мы обречены были ежевечерне внимать вокальным упражнениям миссис Ярдли, которая под звуки,

извлекаемые одним галантерейщиком из фортепьяно, исполняла чувствительные баллады, например «Солдатскую слезу» и «Хочу погибнуть как солдат». Слава богу, она хоть не знала песни «Матушка, родимая, смерть моя близка», некогда популярной в нашем доме.

Джорджа тоже удручала вся эта атмосфера, впрочем, его томило кое-что повещественней, чем трели певчей птички в гостинице «Мессиери». Еще до отплытия в Константинополь он снесся с армейской медицинской службой в Манчестере и предложил свои услуги. Имея нужную квалификацию и опыт более чем пятилетней практики в хирургическом отделении ливерпульской больницы, он, однако, был отвергнут, как человек женатый. Ему не возбранялось выехать в качестве гражданского лица, добыть себе место в главных госпиталях Скутари или Галлиполи — это пожалуйста, но о приписке к полку не могло идти и речи. По прибытии нашем на восток он ни об одном из этих госпиталей даже не пытался наводить справки; если не был на берегу с Миртл, он возился со своим аппаратом, а то и вовсе пропадал в греческих кварталах с новообретенными друзьями. Надо признать, когда к нему обращались за помощью, он исполнял

свой долг безотказно и бесплатно — лечил жену одного пожилого грека от водянки, пользовал миссис Ярдли, обжегшую себе руку, вскрыл одному ребенку нарыв et cetera.

Теперь же он меня удивил: не теряя времени, стал собираться в Скутари. Тут-то ему и пригодились его недавние медицинские заботы о миссис Ярдли: ее приятель, гвардейский полковник, забросив все дела, платил ему услугой за услугу. Хлопоты эти, впрочем, потребовали больше времени, чем ожидалось, и Джордж дергался из-за проволочки. Но — опять-таки он меня удивил, ибо оставил всякое попечение о трактире герцога Веллингтонского, да и за ужином едва пригубливал стакан. Строчил длинные письма, все больше матери, даже миссис О'Горман не поленился черкнуть несколько слов.

Однажды вечером, когда мы сидели на гостиничной веранде, смотрели на закат и поджидали дам, он вдруг повернулся ко мне и сказал, что надеется всегда иметь во мне друга. Я ответил, что душою рад и жду от него того же.

— Вы всегда обо мне заботились, Поттер, — сказал он. — Но не всегда я слушался ваших советов.

— Милый мой… — начал я.

— Я хочу, чтобы вы знали… на случай… если

что… со мной случится… я назначаю вас своим душеприказчиком. Я надеюсь, вы мне не откажете.

— Ну полно, полно, — сказал я. — Зачем такие мысли? — Мне сделалось не по себе.

Как человек, лишенный ресурсов — денежных, я разумею, — я всегда тяжело опирался на щедрость Джорджа. Мне мечталось, что в один прекрасный день я смогу ему отплатить — благодаря моим сочинениям; увы, это осталось мечтой.

— Когда я получу место в Скутари, — сказал он, — у меня камень спадет с души, если вы останетесь здесь и приглядите за возвращением домой детей и Энни.

Разумеется, я согласился. Как мог я ему отказать? Тут он, путаясь и запинаясь, стал говорить о прежней своей жизни, о сожалениях, о загубленных возможностях, о силах, потраченных напрасно, et cetera… и как он чувствует, что война наконец-то даст ему опору, в которой он всегда так нуждался.

— Опору? — переспросил я.

— Даже, если хотите, подпорку, костыль, — сказал он. — Человеку, как я, нужно на что-то опираться, чтобы не рухнуть. Ну, кроме Миртл. Я много сделал такого, о чем теперь жалею.

— Лет эдак через сто, — заверил я его, — мы позабудем все, о чем теперь жалеем.

— Мне бы не хватило и тысячи, — сказал он, и, ей-богу, у него на глазах были слезы. Его слова встревожили меня; когда люди, подобные Джорджу, ударяются в самоанализ, это скорее не к добру.

Тут-то и явился Нотон и был, конечно, удивлен сердечностью моего приема. После многих вяканий и околичностей он наконец спросил у Джорджа, участвует ли тот господин, с которым обручена его сестра, в военных действиях. Джордж посмотрел на него в недоумении.

— Нет еще, — сказал он. — Его полк покуда стоит на Мальте.

— Он недурен собой, — заметил Нотон со столь явственной тоскою в голосе, что тут уж пришла моя очередь недоумевать. Путем умелых расспросов мне удалось наконец выведать, что он при этом разумел гусара, который учтиво поспешил к Миртл на выручку во время того ужаса с собаками.

— Они обвенчаются до войны или после? — спросил Нотон, и тут-то разозленный его назойливостью Джордж решил разорвать помолвку Миртл.

— Положим, он хорош собою, сэр, — ответил он, — но с моей сестрой он обошелся гадко. Никогда она не будет его женой.

Помню, в каком мы были восторге от собственной изобретательности. Так в нашей остроумной, пусть, надо признаться, не очень доброй шутке была удачно поставлена точка.

Решили, что Беатрис, Энни и дети отплывут на родину в начале мая, так нестерпимо заполонили Константинополь толпы чинуш и военный люд. К тому же с наступлением тепла возросло и число мух и разной кусающейся в ночи неудобопоминаемой дряни. Что толку было вытряхивать белье на балконе, как делала Беатрис по утрам и вечерам, если вредоносные твари таились в досках пола, в каждой самомалейшей стенной щели? Что до Энни, та не могла дождаться дня, когда укроется наконец в Англии под цивилизованным тетушкиным кровом.

В апреле Джордж достиг-таки вожделенной цели, и теперь трижды на неделе он пропадал в Скутари, в полевом лазарете, где был взят ассистентом к доктору-турку. Он мог бы на ночь возвращаться, до Скутари было не ахти как далеко, но осторожничал, боялся потерять место. Пользовать ему приходилось покуда вывихи и

ушибы от падений с седла, раны, полученные в пьяных драках, и — реже — венерические болезни. Солдат в этих краях мог напиться на шестипенсовик и за шиллинг приобрести сифилис. Джордж говорил, что даже рад такому положенью дел — для более сложных операций условия лазарета мало приспособлены. И на каждого пациента там по крысе.

Джордж преобразился. Хоть он приходил домой измученный, грязный, с пропыленными волосами и пятнами на одежде, синие глаза выражали ясность и чистоту помыслов, каких им не хватало с самой юности. Миртл редко его сопровождала из-за надвигающегося отъезда детей. С которым она смирилась, ведь ее к ним любовь — лишь продолжение любви к нему.

Уступая желанию Беатрис, назначили прощальное развлечение: прогулку к Золотому Рогу с последующим посещением оперы. Легко вообразить мои чувства, однако я улыбался и прикидывался, будто меня вдохновляет и веселит дурацкая затея. Я любил свою жену, и мысль о разлуке бог весть на какой срок меня наполняла тоской. Как я это вынесу? Я нежно думал о ее привычке поклевывать вилкой еду на моей тарелке, о том, как пухлые пальчики ласково трут перед

рассветом клопиный укус на моей щеке. Нечего и говорить, все мои попытки облечь подобные мысли в слова всегда встречали негодующий отпор. Зато когда она спала и я хотел высвободиться из кольца ее горячих ручек, оно сжималось еще тесней.

До бухты Золотой Рог, где располагался курорт, на котором паслось все, что было знатного и светского в Стамбуле и Пера, было два часа быстрой езды. Мы решили устроить наш пикник у стен дворца, принадлежавшего брату султана, человеку, прославленному великолепием расчисленных своих садов, где по аллеям роз сотнями ступали павлины. Я сказал — быстрой езды, но поскольку тряский бег пони мог стать для детей роковым, нам поневоле пришлось готовиться к более долгой дороге. Тронулись мы спозаранок, но уже к восьми солнце забралось высоко, и Миртл державно, как скипетр, будто отваживая орлов, вздымала мухобойку над пушистыми детскими головами.

Места вокруг прелестные, и кабы не жара — человек дородный буквально плавится на таком свирепом солнце, — я бы посчитал, что приятней и нельзя провести утро. За нами по пятам, временами обгоняя, скакал Нотон, который сидел в

седле весьма недурно для скрипичного мастера. За ним увязался еще один из инженеров и некая тощая личность в тюрбане. Оказавшись рядом, Нотон неизменно выкрикивал приветствие и приподнимал шляпу. И разумеется, глаз не сводил с Миртл.

— Он за тобой гоняется, как охотник, — сказала ей Беатрис. — Не пойму, как только ты такое терпишь.

— Мне знакома одержимость, вы и забыли? — ответила Миртл. — И какой от него вред?

Когда, огибая припавшие к берегу наивные виллы, мы приближались к заранее облюбованному месту, в синеву неба взмыла стая журавлей. Миг один мы отчетливо видели их, потом, рассекая золотые лучи, они растаяли в блеске.

Дворец стоял на широком плато в окружении деревьев и цветущих кустарников. Спешившись, мы поднялись по широким ступеням и посредством своеобразного туннеля проникли в это экзотическое владенье. Не одну сотню людей, сообщила Энни, приходится нанимать для содержания его в должном порядке.

Сады эти были, собственно, пространной и прихотливой смесью тщательных лужаек, декоративных каменных горок и цветочных

бордюров. Сам я, увы, никогда не мог себя заставить умиляться достижениями садоводства, и мне надоела Энни со своими восторгами по поводу то одного, то другого *дивного,* как она это определяла, растения. Куда живей меня влекли поляны меж стволов, неожившие веселых дам, сверкавших алыми коготками. Как бы хотелось мне к ним присоединиться! Но вместо этого, понукаемые Беатрис, мы неслись мимо пурпурных рододендронов на звуки дальних хлопков и приглушенных расстояньем криков, пока не вышли наконец к открытой поляне в кольце шумных наблюдателей.

Оказывается, здесь тешились спортом флотские под началом французского адмирала, которому, как ворчали зрители-англичане, лучше было бы заняться кой-чем поважней, хоть бы конфликтом, кипящим по ту сторону Босфора. Я готов был с ними согласиться, но вдруг увидел, как сей господин выходил, подкрепясь, из соответственного павильона, в торжественных позументах, при треугольной шляпе, с обеих сторон поддерживаемый моряками, — и решительно переменил свое суждение. Слюнявый рот, дрожащая походка, боязливая осторожность каждого шага, будто он ступал на зыбучие пески, уверили меня, что дни

адмирала сочтены.

Беатрис нелепо увлеклась этим их бегом и прыжками; не в силах более торчком стоять на солнцепеке, я укрылся под иудиным деревом и, прикрыв платком потное лицо, погрузился в грезы наяву. Мысль моя — не оттого ли, что мне хотелось пить, — перекинулась на писания Гомера, а именно на те его стихи, где речь идет о смерти Антиноя, пронзенного в горло стрелой Одиссея в тот самый миг, когда он готов припасть к золотой чаше, — как вдруг удар по щиколотке пренеприятным образом вывел меня из задумчивости. Сорвав с лица платок, я успел увидеть, как престарелый господин падает прямиком мне на ноги, после чего он растянулся рядом.

Я часто думал о том, что все на свете предначертано и такого понятия, как случай, не существует вовсе. Никогда бы Галилею не додуматься, что Земля вращается вокруг Солнца, не родись при нем изобретатель телескопа, равно как и Миртл не видать ее нынешнего положения при Джордже, если б не вспышка оспы и посещение кой-кем борделя. Разумеется, два эти примера решительно несопоставимы по масштабам, но оба свидетельствуют о редком совпадении времени и места. Сам же я — вечная жертва предопределе-

ния, в согласии с которым все, что я хотел и мог бы изучать, всегда оказывалось уже исследованным более великими умами.

Я это лишь к тому упоминаю, что старец, вдруг оказавшийся со мною рядом под иудиным деревом, был не кто иной, как, директор Археологического музея в Керчи Густав Страйхер, с которым я двадцать лет тому назад водил знакомство. После заверений в том, что кости не поломаны, последовала одна из бесед, характерных для встреч относительной молодости — уж слышал-то я как-никак получше — и вполне законченной дряхлости. Не уверен даже, что он меня узнал, хотя помнил, кажется, мраморную голову Аполлона, чьи нежно нарумяненные щеки пленяли меня когда-то, равно как и саркофаг, оседланный по крышке двумя гигантскими фигурами, по милости турецких мародеров лишившимися головы. Я сказал ему, что помню его зажигательную лекцию на сей предмет.

— Варвары, — пробормотал он. — Варвары все до единого.

— А вы по-прежнему в Керчи? — спросил я, и он отвечал, что отправлен в почетную отставку с пенсионом.

— Вам больше по душе жить здесь… чем в Ан-

глии?

— Что такое Англия? — отозвался он. — Где эта Англия?

Сочтя вопрос риторическим, я промолчал. Заметив, что глаза у него закрылись, я понадеялся, что он заснул, а не потерял сознание вследствие ушиба. Я хотел уже спросить, как он себя чувствует, но тут он с незаурядным пылом вскричал:

— Чистейшая нелепость — переносить странствия Одиссея на Черное море. Он непременно бы упомянул Босфор и Дарданеллы, буде скитания его имели место не к западу от театра Троянской войны, а северней, на Понте Эвксинском[10].

— Да, в самом деле, — сказал я и прибавил: — Мои цели, однако же, насущней. Я хочу быть наблюдателем.

— Но чего? — осведомился он.

— Войны, разумеется, — сказал я.

— Какой войны?

— Нынешней, — ответил я, опешив от такого его вопроса.

— Я не знаю никакой войны, — объявил он. — Троя пала.

Нашу беседу прервала Беатрис, прибежавшая

---

[10] notes: 10

Понт Эвксинский (Гостеприимное море) — древнегреческое название Черного моря.

с известием, что Джордж решил попробовать себя в прыжках в длину, как разрешили всем желающим.

Я помог старику подняться на ноги и пожал ему руку.

— Я вспоминаю вас с признательностью, — сказал я, хоть и не совсем правдиво. Я не забыл унизительную сцену, когда, после одной своей лекции предложив задавать вопросы с места, он обозвал меня ослом и велел садиться.

— Скорей, — торопила Беатрис.

— Я надеюсь, мы еще свидимся, — говорил я, тряся его руку.

— Не думаю, мистер Лайелл, — отвечал он, обнаруживая лестную, хоть и не вполне точную память о моих геологических исканьях. — Мое почтение дочери вашей.

— Это он про меня? — заинтересовалась Беатрис.

— Про кого же еще? — ответил я, и она просияла.

Нельзя сказать, что на этих соревнованиях Джордж заметно отличился. Спортсменом в семье был брат его, Фредди, увы, рано умерший от воспаления мозга. И все же, когда он, разбежавшись, оторвался от земли и солнце литым

золотым шлемом одело ему голову, мы орали до хрипоты.

Час спустя, когда Беатрис нас стала тащить домой, Джордж настоял на том, чтобы мы сфотографировались. Он заприметил человека с треногой возле фонтана. Мы выстроились, и кое-кто задобривал собственное изображение в жалких потугах преодолеть упущения природы; Беатрис под видом задумчивости подперла подбородок пальцем, Энни сбросила туфли, чтобы стать ниже ростом. Я же взял на руки старшую девочку и тщательно расправлял ее платьице по своему пузу, пока она не разревелась, и Джордж велел ее отдать матери, уже прижимавшей к груди младшего. Позади продолжалось состязание — офицеры против солдат — под упоенное хрюканье участников.

Долго стояли мы неподвижно, как статуи, все, кроме детей. «Тихо, миленькие», — приговаривала Миртл, а они рыбками трепыхались у нее на груди.

Час посещения оперы был поздний, мы давно отужинали. Театр стоял в Пера, в европейской части города, вплоть к питейному заведению, забитому солдатней. Оттуда несся гвалт, вопли, визг — впору подумать, что там тоже дается опер-

ное представление.

Я злился на Беатрис: заставила меня припарадиться, а в театре этом грязь была несусветная. К счастью, мы сидели в ложе, слегка возвышенные над мерзостью. При всем при том, хоть скрыл это от Беатрис, я, перед тем как ей сесть, стряхнул со стула двух тараканов. Вонь снизу и из соседней лавки, смесь жареного лука, пива, еще чего-то мерзко сладковатого ударяла в ноздри, и нам приходилось без конца обмахиваться носовыми платками. По краю сцены, в опасной близости к истертому бархату занавеса, стояли рядком горящие керосиновые лампы, иные без стекол. Я предусмотрительно проверил узкий проход за нашими стульями и повыбрасывал на улицу кой-какую рухлядь, чтобы в случае пожара можно было выбраться.

Миртл сидела отвлеченно, ничего вокруг не замечая. Завтра детей отправят в Англию — от этой мысли она как окаменела. Потом уже, перед антрактом, я вдруг услышал странный звук, который мгновенно воскресил в моей памяти кухню миссис О'Горман и крик дворовой кошки, обрыскивавшей ведро, в котором утопили ее котят. Я вздрогнул, глянул на Миртл — у нее были мокрые щеки.

Джордж счел, что это она растрогалась из-за музыки, но каким образом новомодный композитор вроде Джузеппе Верди своим нескладным грохотом и надсадным воем мог заставить человека плакать, если только не от злости, — выше моего понимания. Беатрис ласково обняла ее за плечи, а Энни, не находя в себе сил открыто выразить сочувствие, несколько смущенно искала нюхательные соли.

Только уж когда дали занавес, я заметил Нотона, он сидел в ложе напротив вместе со своим дружком-инженером, миссис Ярдли и ее гвардейским полковником. Нотон уставился влево от нашей группы, и негодование искажало его черты. Следуя за направлением его яростного взора, я перегнулся через перила и заглянул в соседнюю ложу. Там сидела юная смуглая особа в тесных объятьях молодого господина в блистательном мундире Одиннадцатого, лорда Кардигана гусарского полка.

А несколько минут спустя я увидел, как Нотон пробирался по партеру. Достигнув нашей пыльной клетки, он глянул вверх, сперва на Миртл, которая как раз утирала слезы, потом левей. Если такое и впрямь водится в природе, губы его, ей-богу, зазмеились усмешкой. Затем он демон-

стративно направился к задним дверям. Миссис Ярдли между тем подавала мне отчаянные знаки, махала программкой, выставляя себя притом на всеобщее обозрение. Что до инженера, он встал, набычился, как боксер, и бил кулаками воздух. Я счел, что оба они пьяны, и сказал об этом Джорджу, но когда мне удалось-таки привлечь его внимание к ложе напротив, инженера там уже не было.

— Удивительно, как дичают люди вдали от родины, — сказал я Беатрис, но в ответ услышал только шипенье: оркестровая яма снова заполнялась.

Уже начался второй акт, уже выл заунывно хор, когда я услышал шаги в проходе за нами. Затем были: грохот, невнятное бормотанье; стул подо мной затрясся так, будто что-то тяжко брякнулось о нашу ложу. Все смотрели на нас, в том числе и певцы на сцене. Голос, по которому я не сразу опознал инженера, отчетливо выкрикнул: «Не дурите, ч… вас побери совсем!» Вытянув шею, я потрясенно увидел Нотона, спиной прижатого к краю ложи под таким углом, что голова его болталась над оркестрантами. На Нотона, схватив его за горло, напирал гусар. Многие в публике повскакали с мест и постыдно подзадоривали

дерущихся.

Далее последовало нечто превзошедшее своим драматизмом все, что мы видели на сцене. Нотон отчаянно вцепился в грудь противника и ухитрился продеть пальцы сквозь золотое шитье его великолепного ментика. Гусар явно ужаснулся мысли о таком оскорблении мундира, ослабил хватку и сам хотел высвободиться, но тут Нотон вывернулся, распрямился, обхватил гусара и кинул на край ложи, гусар качнулся, поднял руку и, чертя невнятный знак, скорей всего крестясь, рухнул на пол в партере. Тут впервые открылось мне назначение музыки: чувства мои обострялись несмолкающим оркестром — несчастный приземлился под гром ударных.

Джордж бросился вниз, растолкал возбужденную толпу и подал пострадавшему всю возможную помощь. Мы стояли поодаль, чтобы не усугублять переполох. Из прохода донесся страшный шум; выглянув, я с удивлением увидел, как с десяток дюжих турок уволакивают Нотона. Инженер в отчаянии к нам бросился, крича, что сам он ужасно виноват.

— Мне надо было его удержать! — кричал он. — Господи! Я же видел, к чему клонится дело!

Я увлек его в сторонку и попросил объяснить-

ся удовлетворительней. Из-за чего вспыхнула ссора? Почему Нотон подвергся такому грубому нападению?

— Да он же сам полез на рожон! — крикнул вне себя инженер. — Ворвался в ложу и отвесил гусару оплеуху!

— Но за что? — спросил я, хотя в моей душе уже шевелилось жуткое подозрение, что мне и самому это известно.

— Как же, все из-за мисс Харди… за то, что так с ней обошелся. Сидит от нее в десяти шагах и обнимает эту непристойную особу… а мисс Харди от оскорбления в слезах.

— Знаете что, возвращайтесь-ка вы в гостиницу, — сказал я ему. — А утром… когда вы успокоитесь… мы, пожалуй, обратимся к английскому консулу.

— Мне надо было его удержать, — простонал инженер и побежал по проходу.

Все кончилось благополучней, чем можно было опасаться. Капитан, весь в синяках, едва дышал, но не сломал, однако, ни хребта, ни шеи. Он всего-навсего растянул себе лодыжку, и призванные из питейной лавки друзья ему помогли добраться до казармы.

На пути домой мы с Джорджем молчали, как

убитые, и неспроста. Нам было стыдно обоим. У меня не шел из головы утиный мальчишка, Помпи Джонс, и как я выговаривал ему когда-то за детскую проделку с тигровой шкурой.

Причина и следствие, думал я. Вот оно. Никогда нельзя недооценивать разрушительной силы наших необдуманных действий.

Я нанял верхнюю половину одного дома в Скутари. Джордж, до той поры ночевавший в лазарете, был в восторге от переезда. Окна наши смотрели на Мраморное море, и через двор мечети до казарм было рукой подать. Кроме самой необходимой мебели, в комнатах ничего не было, и Миртл постановила, что ничего не надо менять. Я кинулся было покупать шифоньеры и картины, но она сказала, что мы не у себя дома и незачем прикидываться, что жизнь идет по-прежнему. Так оно и вышло, нам недолго суждено было там оставаться.

Самая удивительная перемена произошла в Миртл — во внешности, я разумею. Тогда как мы с Джорджем заметно потеряли в весе, от жары ли, от вынужденной ли диеты, она, напротив, скорее пополнела; округлились щеки, шея и руки налились. Всегда бледное, лицо подрумянилось на солнце, и, поскольку она ходила простоволо-

сая, в волосах блестели выгоревшие прядки. Итог — прежде словно сквозившая в тумане, Миртл как бы вышла на свет божий. Едва ли Джордж замечал эту перемену, он слишком был занят другими материями, ну а я втайне радовался, что исчез со сцены бедный, одураченный Нотон. Если уж Миртл тогда свела его с ума, теперь, новая, искрящаяся, она бы довела несчастного до истинного помешательства. После того как для умасливания турецких властей была собрана кругленькая сумма — причем свою скромную лепту внес я или, точнее, Джордж, — Нотона услали в Англию. Я провожал его в гавань, и, перед тем как взойти на борт, не в силах произнести ни слова, он, словно тонущий, вцепился в мою руку. Я придал своим чертам приличное случаю выражение, хотя, должен признаться, меня все еще жег стыд.

В июне Джорджа призвали в Константинополь, в военную медицинскую коллегию. Его поставили в известность, что отныне он приписан к расквартировываемой в Варне второй дивизии в качестве помощника хирурга. Он меня просил не открывать Миртл причину его назначения — три доктора, занимавшие это место до него, все, один за другим, пали жертвой холеры.

Я выразил тревогу, но он меня утешил, что опасность заразиться там не больше, чем везде. Уже несколько недель больные сотнями прибывали в Скутари. Болезнь приняла такой оборот, что смертники гниющими рядами валялись по коридорам лазарета. Столько смертей — и без единого выстрела!

Я не храбрец, и, должен признаться, мысль удрать в Константинополь и оттуда домой мне приходила в голову. Подозреваю, так бы я и сделал, если бы не Миртл. Ничто на свете не вынудило бы ее оставить Джорджа, ну, а когда всего лишь женщина выказывает такую твердость, кто ж себе позволит поддаться малодушию?

Через неделю, в сумерки, мы проплывали мимо сказочно затейливых дворцов пашей; мимо гробницы Барбароссы, покорителя Алжира; вдоль вечереющих садов и кипарисов мы килем пробивали кипящую бледную дорогу по фосфорным грядам Босфора. За нами следом неслись крошечные, не более зарянки, птицы; никто и никогда не видывал, чтобы они сели, всегда в полете. Турки, как мне приходилось слышать, считали, что это души женщин, которых утопил султан.

Дорога заняла у нас два дня; на второе утро за завтраком молоденький драгунский офицер,

говоря о том, как он жалеет, что забыл дома теннисную ракетку, вдруг упал на тарелку лицом. Джордж приподнял драгуна — накануне вечером жаловавшегося, оказывается, на желудочные боли — и объявил, что тот умер. Так и остался он сидеть, с открытым ртом. Мы тоже сидели, будто боялись его потревожить. Когда наконец мальчишку уносили, Миртл встала и осторожно сняла с его волос хлебные крошки.

Сказать, что мы высадились в Варне, было бы преувеличеньем; мы скорее плюхнулись в воду, ибо пирс решительно сгнил. Хлюпая по грязи, мы выбрались на сушу. Одна лошадь сломала переднюю голяшку, пришлось пристрелить ее на месте. Труп подхватило волной, и он тихо поплыл под балдахином мух по Черному морю.

В городе из-за значительного перенаселения царила дикая неразбериха. Войска, лошади, обозные телеги, теснясь из порта, делали почти непроходимыми узенькие улочки. Крысы нагло, не таясь, рылись в отходах возле пищевых лавок. Даже Миртл замечала грязь и кавардак Мои мечты о том, чтоб снять уютный домик, увитый виноградного лозой, рассеялись как дым. Почти все доступное жилье мало того что ютило несчетных представителей многообразного мира

насекомых, вдобавок уже гостеприимно укрывало паразитов иного рода, а именно винных торговцев и лошадиных барышников, острым смрадом войны выманенных из всех щелей Леванта.

Джордж отбыл доложиться в главный госпиталь, а мы с Миртл отправились на несколько миль западней от города, где был разбит военный лагерь, и палатки по обе стороны дороги взбирались вверх, к нагорью над озером, образованным рекой Девней. Ниже по течению натекал еще пруд, окруженный болотистой местностью, днем довольно живописной, по ночам же окутываемой ядовитым туманом. С невнятных слов сопровождавшего нас болвана грека я заключил, что рядом кладбище, где позарыты шесть тысяч русских, павших от чумы в двадцать девятом году. Приобретя по баснословным ценам палатки и кастрюли, мы пристроились неподалеку от пруда. Что до питьевой воды — рядом били прелестные ключи.

Мне хватило нескольких часов, чтобы понять, в какую мы влипли передрягу; едва настала ночь, процессия бедолаг, волочащих на закорках своих собратий, провлеклась мимо нашего костра и растаяла во тьме. Кто-то говорил, будто они идут

к реке помыться и страдают покуда всего-навсего поносом, но уже поползли слухи, что во французском лагере, разбитом на сравнительно благополучном месте, от нас к северо-востоку, вспыхнула холера.

На другой день к нам присоединился Джордж, облаченный якобы в форму офицера двадцатой дивизии. Мундир так выцвел и потерся, что исходные цвета не поддавались опознанию; его заметно поносил злополучный предшественник Джорджа — если не все трое. Вынужденный на свои любезные купить уставные сапоги, Джордж заполнял несчетные бланки, в результате чего был извещен, что желаемую обувь можно будет приобресть через неделю, а то и через месяц.

Обстановка в лазарете, он мне рассказывал, была зловещей. Не хватало людей для строительных работ, а власти, он считал, то ли не могли, то ли не хотели понять неотложность дела. Предприняли попытку улучшить вентиляцию, выломав доски на крыше, но палаты все стояли душные и грязные, служа достойной Вальхаллой[11] несчетным блохам, мухам, крысам, тараканам. Недоставало

[11] notes: 11

Вальхалла («Чертог убитых» — *древнеисл.*) — в скандинавской мифологии принадлежащее верховному божеству Одину жилище павших в бою храбрых воинов.

оборудования и лекарств. В первый же вечер ему пришлось спасать несчастного, в пьяном виде свалившегося с лошади и сломавшего нижнюю челюсть. Не имея ничего другого для наложения шины, пришлось использовать картонный переплет книги под названьем «Вольный, вольный мир». Если его не выскрести добела, лазарет непригоден для обитания, и, по убеждению Джорджа, человек там умрет скорей, чем брошенный в канаве. По ночам Джордж неистово чесался и не давал мне спать.

Сам же я являл собой весьма печальную фигуру, после того как безрассудно передал залубеневшую от шлепанья по грязи одежду прачке. Итог — день целый я простоял голышом, прикрытый замызганной лошадиной попоной, ожидая ее возвращения. Она так и не пришла, и, поставя окончательный крест на моем стремлении к элегантности, так и не пришел корабль с нашим багажом — как сообщалось, загоревшись в миле от Скутари. Миртл отправилась куда-то, разыскала торговца подержанным платьем и любезно купила и на мою долю священническую рясу, безусловно модную во времена моего деда. Еще она приобрела цилиндр, слегка траченный молью. И я его носил, предпочтя бесчестье солнечному

удару. Сама она ходила в длинном платье, вот как турчанки носят, и чуть ли не непристойно ловко скользила в нем по лагерю.

Странно, до чего просто привыкаешь к первобытным условиям. Удивительно, до чего легко осваиваешься с чумазыми руками и сальной бородой. Ничто так верно не возвращает человека к его сущности, как жизнь под открытым небом.

Сказать по правде, я уже не знал, кто я такой — я потерял свой курс вместе со штанами. Я наблюдал, я вел свои записи днем — под адское жужжанье мух, ночью — под собачий лай и задушенные крики тех, кому приснилась родина… а то похуже.

Я пропал, я совершенно потерялся, разум мой был расстроен, мысли в беспорядке. Часто, погружаясь в неверный сон, я про себя повторял строки Гесиода:

> *… Сила ужасная собственных рук принесла им погибель.*
>
> *В затхлую область они леденящего душу Аида*
>
> *Все низошли безымянно*[12].

---

[12] notes: 12
Гесиод Труды и дни, 152–154 (перев. с греч. В.В. Вересаева).

Боюсь, скорей тот жесткий барашек, которого мы жевали на закате, нежели интеллект, придавал такое направление моим мыслям.

Пластинка четвертая. Август 1854 г
Концерт в Варне

Места тут дивные, но все вокруг болеют, понять не могу отчего. Может быть, от этой бездны ягод, собирай сколько хочешь — вишня, клубника растут за палатками без всякого призора. Я в жизни себя не чувствовала такой здоровой.

Джорджи, как сюда приехали, поручил доктору Поттеру купить для меня пони. Он беленький весь, и на крупе черная полоса; если пугается, на лбу бьется синяя жилка. Понятливые животные совсем как дети. Я его глажу, а шкура под рукой нежная, просто бархат…

Джорджи меня еще ни разу не видал в седле, все ему некогда, но вчера пообещал, что мы вместе поедем в горы над озером. Уже нам через час отправляться, и тут он исчез. Оказался, конечно, в своей лазаретной палатке, сидит проверяет лекарства, все заносит в гроссбух. Помощника у него нет, и он вечно мучается, столько разных отчетов приходится писать по начальству. Мог бы сказать, как, мол, обидно, что он со мною не

выберется, но нет, не сказал.

Только кинул через плечо: «Ты иди, Миртл. Мне никак нельзя отлучиться».

Доктор Поттер — тот бы со мной поехал, если б я его взяла, хотя наездник из него никакой, и вообще он не любит шевелиться. Я очень люблю доктора Поттера, но он вечно погружен в свои мысли, и, когда его из них вырвешь, он неважный собеседник. Вечно приводит цитаты о смерти, сперва пробормочет на мертвом языке, потом старательно переводит, а это может ведь и надоесть. То есть не то чтобы сами слова неинтересны, почему, сидели бы мы в гостиной между дураков, я бы первая его посчитала умнейшим человеком. Но здесь, когда кругом без конца умирают люди, эти отсылки к древним побоищам раздражают, вот и все. По-моему, он удирает в прошлое от страха перед действительностью.

— Со мной согласилась поехать миссис Ярдли, — я ему сказала. — Да вы же и не любите жары.

— Разумеется, разумеется, — поддакнул он, хоть вид был расстроенный.

Солнце в то утро было особенно злое, и я попросила у него цилиндр — чтобы подсластить пилюлю. Это подействовало. «Бери, бери, дитя

мое», — крикнул он, сдирая с головы свою шляпу. Я, конечно, не собиралась в ней красоваться дольше, чем он будет добираться до палатки.

Миссис Ярдли и ее полковник стоят в городе, но все дни проводят в лагере. Я начинаю к ней привыкать. Иногда она, правда, может и выругаться, особенно когда укусит комар. Вся в укусах — один даже на кончике носа, — она все равно не теряет веселости. Она выступала на сцене в живых картинах и не делает из этого тайны и характера своих отношений с полковником тоже не скрывает. Думаю, она не догадывается, как много между нами общего, хотя из-за того происшествия с глупым Нотоном несколько раз подступалась ко мне с не совсем скромными расспросами. Покамест я с нею не откровенничаю, но если мы сойдемся поближе…

Обе мы стараемся не терять присутствия духа и согласны в том, что кое-кому из наших «леди» стоило бы поучиться мужеству у жен и спутниц простых солдат, которых вдобавок дергают за подол орущие дети. Я вот все говорю мастеру… все говорю Джорджи… что глупо расспрашивать простого солдата про понос, ведь для того, кто вырос на тухлятине, это дело привычное. Я напомнила ему, как миссис О'Горман рассказывала

про сестрину семью в Ливерпуле: они в речном устье, в иле, нашли давно утонувшего поросенка, принесли домой и чуть не сырым умяли. Итог — как сказал бы доктор Поттер, — хоть раз в жизни наелись досыта.

Не успели мы взобраться в горы, миссис Ярдли принялась выведывать; думаю, за этим стоял полковник, он же знает здешние сплетни.

— Мисс Харди, — она говорит, — я вот слыхала, этот ваш Нотон слег, едва вернулся домой. Видно, слух про его подвиги прежде его туда дошел. А тут еще денежные заботы, знаете, он же совсем запустил дело.

— Я не так уж близко с ним знакома, — я говорю. — Но мне грустно это слышать. Без денег жить несладко.

— А я думала, вы с ним по Ливерпулю знакомы, — она говорит.

— Вовсе нет. Мы познакомились на борту парохода… а потом снова в Константинополе. Он любезно мне помог вернуться в гостиницу, когда мне стало дурно на улице.

— Из-за жары, — она говорит: опять выведывает.

— Вовсе нет. Это из-за собак…

— Ах да, — сдавленный вскрик, — мне Беатрис

говорила. Они вас чуть не растерзали…

— Да нет же, совсем не то, — сказала я. — Щеночка м-м… моего брата детей разорвали у меня на глазах. — От одного упоминания о моих душеньках у меня навернулись слезы.

— Какой ужас! — простонала миссис Ярдли, и притом, кажется, искренне.

Мы проходили по-над рекой, там женщины стирали, руки у них были темные от загара. Тут же поставщики-болгары, снабжавшие лагерь мясом, разделывали забитую овцу и швыряли кровавые кишки в воду. Женщины колотили вальками, перекрикивались, хохотали. Рядом лежал ничком и закидывал ведро мальчонка. Полное, оно стало ему не в подъем. Он его наклонил, расплескал, припал губами к краю, жадно хлебнул и, шатаясь, заковылял к палаткам.

— А мне так и вовсе детей не надо, — сказала миссис Ярдли. — Оно и к лучшему, раз уж я не беременею.

— И Беатрис тоже, — выпалила я. — И не то чтобы доктор Поттер не старался.

Тут обе мы фыркнули, замечание-то было скользкое, и в разговоре с женщиной иного сорта, чем моя спутница, я бы никогда себе его не позволила.

При мысли об этих интимных вещах в голове у меня встали картины: Джорджи меня забирает из школы в Саутпорте, по дороге домой я вишу у него на руке; Джорджи сопровождает Энни в сторону доков на ужин в гостинице, а я плетусь сзади, и только-только проклюнулся месяц, позажигали на пароходах огни, и сердце мне так стискивает чистая радость, что я закусываю губу, чтобы громко не закричать. Ну, не такая уж чистая…

— У-у, ч-черт, чтоб тебя… — взвизгнула миссис Ярдли и яростно хлопнула себя по шее.

Я ей посоветовала ногтем прочертить крест по укусу. Джорджи говорит, злость тогда сразу пройдет. Мной насекомые брезгают. Видно, в детстве так поискусали, что теперь во мне противоядие выработалось.

Скоро тропа вошла прямо в лес, и весь он сладко качался от птичьего пенья, от пчелиного гуда. Миссис Ярдли сказала, что тут вроде как в церкви, даже лучше, на коленки не надо плюхаться…

Я ведь только на похоронах мистера Харди в первый раз и была в церкви вместе с мастером… вместе с Джорджи… хотя сидела в другом приделе и дальше на двенадцать рядов. Лолли мне дала напрокат свою шляпку. Миссис Харди сидела между Беатрис и тем господином, в которого

стрелял лорд Кардиган. Ни у кого плечи не дергались от слез, у одного Джорджи, хотя, если правду сказать, ни на чьи я больше плечи и не смотрела. Миссис Харди держала в руке платок, но ни разу им не воспользовалась. Некоторые плачут ведь про себя, а по-моему — разве так выплачешься…

— И почему они находят меня такой сладкой? — жаловалась миссис Ярдли, отмахиваясь от комаров, а те так и роились над ее головой.

Дружка за дружкой, след в след мы миновали двух полуголых молодых людей в крапчатой тени, один сидел прислонясь спиной к дереву, другой растянулся рядом, заслонил лицо руками и мел светлыми волосами землю. Оба лениво напевали, и над ними, свисая с веток, болтались красные куртки. Заслыша мягкий перестук лошадиных копыт, тот, который сидел, открыл глаза и учтиво поклонился; такой румяный, со вздернутым носом деревенский парнишка, а на коленях — целая груда вишни.

Как вышли из лесу, мы сразу стали забирать кверху. Миссис Ярдли, скребя щеку, спросила, чего бы мне сейчас хотелось. По кислому тону ясно было, что она вдруг вспомнила десятки способов более удачно провести время.

— Чего? Да того же, что и есть, — ответила

я. — Всегда надо довольствоваться настоящим… другого нам не дано.

Только это неправда была; я так хотела, чтобы рядом был Джорджи.

Скоро деревья расступились, и мы увидели белую мазанку подле небольшого виноградника. Я была за то, чтобы сделать крюк, не подходить слишком близко. «Там, уж наверное, собаки», — предупредила я. Миссис Ярдли будто и не слышала, беззаботно трусила дальше.

Ну и конечно, нескольких минут не прошло, воздух задрожал от грозного, страшного воя; лошадь миссис Ярдли стала как вкопанная. Зверь ростом с теленка, весь тощий, выбежал из-за угла мазанки и ринулся к нам, а следом трусило существо поменьше, сплошь черное и на трех лапах.

— Не шевелитесь, — приказала я миссис Ярдли, хоть от скрежета когтей по каменной тропе и свирепого лая, надрывавшего сияющий день, она и так окаменела в седле. Слава богу, лошади стояли смирно — привыкли, видно, к таким передрягам. Не добежав до нас метров шести, собаки, болтая языками, остановились. Я сосредоточилась на той, что крупней, и принудила себя смотреть в ненавистные глаза; взвыв, она улеглась и прижала уши к узкой костлявой морде. Миссис Ярдли

постанывала, но неопасно — негромко.

Так, показалось нам, прошли долгие часы, но вот из виноградника вышел кривоногий мужчина и свистнул собакам. Приблизясь, он знаками подозвал нас к себе. Нас провели на задний двор, а там сидела в пыли на корточках женщина и месила тесто. Кривоногий, кланяясь, заставил нас спешиться и жестами пригласил к шаткому столу. С полдюжины ребятишек, некоторые ползунки, как бы чудом возникли из воздуха и стали нас дергать за платья.

Миссис Ярдли вся дрожала; на щеке у нее исходил кровью укус.

— Простите меня, — говорит, — что вас не послушала.

— Вы лучше подумайте, что бы такое им дать, — я говорю. — Деньги у вас есть?

— Деньги, — она говорит. — Но при чем тут деньги?

— Надо отплатить за гостеприимство, — я говорю раздражаясь. — Даром в этом мире ничто не дается.

Кривоногий поставил перед нами две такие маленькие миски и кувшин молока. Дети путались у него под ногами, он их распихал, и, волнуясь и гомоня, как цыплята, они разбежались по углам

двора.

— Свинья, — крикнула я, изо всех сил стараясь улыбаться. И кажется, поняла, почему у меньшей собаки не хватает лапки.

Миссис Ярдли смотрела в кувшин, на плавающих в молоке насекомых.

— Нет, вы пейте, — сказала я. — Не то вам принесут что и похуже.

— Эти хоть уже не кусаются, — сказала она и храбро глотнула.

Женщина бросила круг теста на плоский камень; ткнула пальцем на солнце, потом похлопала себя по животу — так она объясняла, что хлеб будет вкусный, когда испечется. Она подняла руку, халат отпахнулся, а под ним — припавший к соску младенчик, и на голове торчат смолисто-черные волоски.

— Подумайте, — понукала я миссис Ярдли, — что бы такое им дать.

У самой у меня ничего не было, только за рукавом носовой платок, его Джорджи обронил; а у нее был шелковый шарф на шее.

И вдруг непонятный звук, вроде хихиканья, раздался совсем близко, из-за стены виноградника. Кривоногий вразвалку туда двинулся, скоро вернулся, неся на руках брыкающуюся козу, и

швырнул ее на стол. Из углов прихлынули дети.

— Если он при нас станет ей резать горло, — пообещала миссис Ярдли, — я кричать буду.

У козы была голова как у аристократки, золотистые глаза; передние ноги дрожали. Женщина оставила тесто и подбежала к козе. Та жалобно проблеяла и объягнилась. Миссис Ярдли отскочила, разинув рот в молочной бахроме. Женщина счистила с головки новорожденного сорочковую слизь, подула ему в ноздри, потом взяла его на руки. Крошечный кулачок высунулся из-за халата и покачивался рядом с копытцем. Она пересекла двор и плюхнула козленочка на солнцепеке, рядом с поднимающимся хлебом.

Миссис Ярдли отдала свой шарф. Сказала, что это подарок полковника, но господь с ним совсем, лишь бы поскорее смыться подобру-поздорову. Она уже не дрожала и, кажется, вполне оправилась после своего перепуга из-за собак. Я думаю, рождение возвышает душу, кто бы ни родился; жизнь во всех видах так удивительна.

Час или больше мы упорно взбирались к высокой лесистой гряде, которая синевато пушилась под бледным небом. Миссис Ярдли сообщила, что над нами кружит большая птица, только она не разберет, орел или нет. Тут я ей была не помощ-

ница; я выросла в городе и могла с уверенностью опознать одну-единственную птицу, и это был голубь. Вдобавок я чуть не ослепла от солнца и жалела уже, что не захватила с собой цилиндр доктора Поттера.

— Гарри, — миссис Ярдли отнеслась таким образом о своем полковнике, — просто обожает птиц. Он их стреляет в Норфолке.

Ей хотелось о нем поговорить, и она говорила, довольно долго говорила. Она впервые его встретила пять лет назад, на улице, где живет ее портниха. Он приподнял картуз, когда она проходила мимо, потом она оглянулась — а он стоит и смотрит ей вслед. «Потом, через неделю, — рассказывала она, — вдруг встречаю его опять, в гостях у одной моей знакомой. Мы почти ни словом не обменялись, но как друг на друга посмотрим, аж руки трясутся…» Она умолкла и глянула на меня искоса пустым голубым глазом — проверить произведенное впечатление.

— Как романтично, — сказала я из вежливости.

— Он пошел меня провожать, но мы друг к другу пальцем не притронулись… ну, тогда. Только смотрим друг на друга и не можем наглядеться… а наутро он приходит и говорит: «Это судьба». Так

у нас с ним и началось.

Я молчала, не в состоянии придумать достойного ответа. Я ей ни на секунду не поверила — то есть насчет того, что они пальцем друг к другу не притронулись в тот первый вечер. И почему это женщинам всегда хочется подчеркнуть проволочку? Или от сомнений прелюбодеяние делается менее грешным?

— Он, по-моему, из себя такой душка, — продолжала она. — Эти его шатеновые волосы, а борода…. Вы ведь заметили его роскошную бороду, дивный цвет…

— Да, заметила…

— Ну, а эти карие глаза… этот огонек… его просто нельзя же не разглядеть…

— Я, к сожалению, близорука, — сказала я.

Помимо внешности полковника миссис Ярдли ценила то, что он считал ее себе равной во всем, кроме физической выносливости. «В конце концов, мы слабее мужчин, — объявила она, — и к чему притворяться».

— Иных мужчин, — уточнила я.

— Мы с ним говорим часами не умолкая. И мне никогда не наскучит. Как удивительно, правда?

— Очень, — сказала я. Доктор Поттер считает, что язык нам дан для того, чтобы скрывать свои

мысли, но это я оставила при себе. Джорджи не очень-то любит разговаривать, во всяком случае не со мной. И вовсе мне незачем быть ему равной — не приведи бог вдруг еще придурь в нем углядеть.

На прошлой неделе полковник праздновал свой сорокалетний юбилей. Ужинали в самом шикарном ресторане во всей Варне. Гарри, бедненький, выпил лишнего, денщику пришлось подсаживать его в седло…

Спохватившись, что говорит только о себе, — черты мои не выражали того воодушевления, на какое она рассчитывала, — она спросила, не приближается ли, кстати, день моего рожденья.

— Нет, — сказала я. — Я даже не знаю в точности, сколько мне лет. Может быть, девятнадцать… но дата неизвестна.

— Ох ты, батюшки, — она даже задохнулась, — но почему же?

— Мое прошлое окутано тайной.

— Ох ты, батюшки. — И тут она смолкла.

Мы с собой захватили хлеба и фруктов и, добравшись до верху, под легкий шепот ветра спешились и уселись в траве. Под нами был изгиб Галатского мыса, и палатки третьей дивизии, как крылья бабочек, трепетали у линии скал. Кро-

шечных солдатиков муштровали над глянцевым морем. Уильям Риммер, по слухам, стоит в этом лагере, хотя они с Джорджи пока не видались. Когда бы ни приходил в дом в Ежевичном проулке, он смотрел сквозь меня, а Джорджи из-за него всю ночь не ложился. Миссис О'Горман меня порола, чтоб избавить от страсти, но это не помогло. Как ненавидела я Уильяма Риммера, так по сей день ненавижу.

— Я не ради любопытства спрашиваю, — сказала миссис Ярдли (а что же тогда, интересно, называется любопытством?), — но у вас часто бывает грустный вид. Это из-за вашего прошлого… или из-за той истории в Константинополе?

— Ни то ни другое, — сказала я. — Просто у меня грустное лицо. Внешность у меня такая. А в душе, уверяю вас, я совершенно счастлива.

Она мне начинала надоедать, и я притворилась, будто прикорнула на солнышке.

На возвратном пути мы подальше уклонились от домика с виноградником. Так было куда дольше, но миссис Ярдли клялась, что лучше ей пройти по болоту, кишащему змеями, чем снова увидеть этих жутких собак «Младенчик этот кошмарный, волосы, как иглы у ежа. Козочка эта новорожденная, вся от слизи мокрая… Молоко,

как прогорклый сыр…»

Наконец-то мы вышли на ту тропу, что вела к лесу над озером. Было уже за полдень, и мы пустили лошадей в галоп, чтобы поскорей спрятаться от солнцепека. Вот впереди в листве мелькнули красные куртки. Одинокий луч пробивал крону и дрожащим серебром очерчивал контур мужчины посередине тропы. При нашем приближении он не сделал попытки сойти с дороги, и нам пришлось осадить лошадей. Он стоял обхватив себя руками, как будто замерз, и смотрел мимо нас. Я извернулась в седле и посмотрела по направлению этого окаменелого взгляда. Деревенский парнишка по-прежнему сидел привалясь к дереву, только румянец сполз с щек и кожа пошла пятнами, как мясо, когда залежится на прилавке. Вишни он не доел; мухи роились вокруг пальцев, жужжали у рта.

Есть в смерти однообразие, от которого притупляются чувства — оно и к лучшему, иначе пришлось бы без толку выть с утра до ночи. Вот почему Джорджи иногда кажется таким безучастным. Если вечно возишься с умирающими, надо отупеть, иначе ты спятишь.

Солдат к нам не подошел, не заговорил. Они с мертвецом уставились друг на друга. Мы сказали,

что пришлем людей, чтоб отнесли тело в лагерь. Он как не слышал, стоял, ежился, стискивал сам себя руками. Миссис Ярдли сдернула куртку с дерева и укрыла от взглядов это сизое лицо. И ничто не изменилось; так же пели птицы; так же они смотрели.

Потом, когда мы отъехали, миссис Ярдли всплакнула. А я вспомнила сказку, которую читала когда-то, про одного монаха, который каждый вечер слушал, как поет соловей. И попросил он у аббата, чтоб отпустил его поискать эту птицу, а тот ему ответил, что смертному не дано слушать вблизи голос Божий. И вот как-то ночью выскользнул монах из своей кельи, пошел в лес и час целый упивался дивными звуками. А когда вернулся, оказалось, что пятьдесят лет пронеслось, пока его не было, и только один из всей братии мог его узнать, а остальные все лежали в земле, и над ними плескались старые тополя. Я хотела было рассказать эту сказку миссис Ярдли, чтоб ее отвлечь, но вдруг совсем запуталась. Непонятно — от радости годы промелькнули так незаметно, или монах был наказан за ослушанье?

Когда мы вышли из лесу, я уже и сама плакала, потому что прогнала того монаха и вставила в

сказку себя, и пятьдесят лет промчалось с тех пор, как мы утром вышли из лагеря. Я глянула вниз, увидела блеск озера, трепет белых палаток и представила себе, какая бы горькая пошла жизнь, если бы кто-то другой, не Джорджи, уцелел, чтобы вспомнить меня. Потом я вообразила, что вот он старый, седой, а я молодая по-прежнему, и вся моя к нему любовь пропадает понапрасну, как те вишни на коленях у мертвого солдатика.

Доктор Поттер еще за два дня узнал, что группа артистов, составленная из людей стрелковой бригады, стоявшей на Галатском мысу, вот-вот наведается к нам в лагерь. Сочли, что надо поднять наш дух, потому что холера свирепствовала, а дата отправки в Крым все не называлась. Что именно предложат нам в качестве развлечения, оставалось неизвестным, но был такой слух, что среди прочих выступят двое солдат, которые прежде принадлежали к одной цирковой труппе из Парижа. Вбитые на расстоянии один от другого два мощных столба и туго натянутая между них проволока раззадоривали надежды.

В тот вечер, прознав о предстоящем удовольствии, несколько французских офицеров ворвались в лагерь и учинили нападение на доктора Поттера. Он, по его словам, крепко спал в своей

палатке, как вдруг кто-то стал дико ее трясти. Доктор Поттер поднялся со своего матраса и осведомился о причине безобразия. Из невнятного ответа он заключил только, что ему предлагают сматываться, мол, он не один и не валяться же ему тут до утра. В полном недоумении он вышел в поле, а непрошеные гости ринулись под его кров, не сказав даже «Разрешите», и стали вышвыривать докторские манатки во тьму. Кто-то ошибкой ли или со зла донес этим французам, что палатка служит борделем. Доктор Поттер, в ночной рубашке, требовал извинений, но не дождался. И это особенно его огорчило, он-то всегда считал, что французы культурнее англичан. В довершение всех бед один офицер попытался его облобызать.

На другое утро я помогала ходить за осиротелыми детьми, их набралось уже двадцать или около того, пятеро совсем сосунки. Половина — настоящие сиротки, у этих родители оба умерли, остальных отцы не признали и побросали матери. Хлопочут о возвращении их в Англию, но покуда их не на чем отправить. Мне с ними тяжело; что угодно, самая черная работа — и то лучше. Нелегко любить чужих детей, таких страшненьких тем более и заморышей. Слава

богу, за ними чаще ходит добрая женщина, жена одного сержанта, у которой оба ее ребеночка умерли недавно горячкой. Я дивлюсь ее мужеству. Она говорит, что ей сладко воображать, будто эти бедняжки — ее родные дети, и мне то же советует. Она мне добра желает, и я не подаю вида, но при одной мысли сердце у меня так и обмирает от ужаса.

Вечером один малыш подполз слишком близко к огню и обжег ручку. Я понесла его к Джорджи, но только заглянула к нему в лазаретную палатку, он на меня руками замахал. Он был с доктором Холлом, начальником медицинской службы экспедиционных войск, который прибыл из Варны. Сержантская жена смазала ручку бараньим жиром и укачала малыша.

Появился Джорджи с убитым видом. Сказал, что доктор Холл тиран, не умеет вести себя с людьми. Требует слишком многого и все сразу. Ночью умерли девять человек, двое всего за час до прибытия начальства, вот Джорджи и не успел составить этот их отчет. И доктор Холл — при людях — объявил, что он негодный работник Еще он дико ярился из-за того, что большинство санитаров пьяны. Орал, что Джорджи обязан излечить их от предрассудка, будто хмель отгоняет холеру.

Доктор Поттер говорил, что Джорджи следовало постоять за себя, чтобы какой-то Холл и думать не смел на него наскакивать. «Вам надо было защищаться», — доказывал он.

— Я пытался, — сказал Джорджи, — но он меня перекричал.

— Какая низость. — Доктор Поттер даже задохнулся. — Вы же работаете за пятерых.

И тут Джорджи, такой уж он человек, вдруг совершенно переменил свое суждение, сказал, что Холл работает за десятерых, и ни за какие сокровища Индии он бы с ним не поменялся. И потом почтительно проводил начальство за лагерь, аж до грязной дороги.

Когда он вернулся, доктор Поттер предложил ему часок вздремнуть. Сперва Джорджи сказал, что об этом не может быть и речи, — а ведь он всю ночь не прилег и глаза у него слипались. Пока он мешкал, я сунулась было к нему в палатку, но он меня оттолкнул, пробормотав, что хочет побыть один. Все, наверное, из-за моих месячных. Он этих вещей не выносит, хоть он же доктор и к крови привык А через пять минут к нему преспокойно вошел доктор Поттер, я услышала их голоса. Я, в общем, могу понять, почему Джорджи предпочитает мужское общество, мужчины ведь так

боятся нас, женщин, но иногда мне хочется даже, чтобы он заболел. Вот бы тогда я за ним ходила.

Артисты пришли в лагерь днем, они шагали следом за запряженной волами арбой, а на ней высоко качались расписные декорации и музыкальные инструменты. Я была у ручья, полоскала белье, когда они проходили. Вообще у нас есть вроде как слуга, мальчишка-грек, Джорджи его нанял в Скутари, ему и полагается исполнять такую работу, но у него, кажется, есть женщина на другом конце лагеря, и его не докличешься. Доктор Поттер говорит, надо гнать такого взашей; но Джорджи, по своей доброте, и слышать про это не хочет. Да и что мне стоит постирать; выполоскать грязь с его рубашки — мне ведь одно удовольствие.

В тот вечер он объявил, что мы будем ужинать вместе, это у него манера такая извиняться за грубость. Вообще-то он не очень любит со мной есть, все потому, что я не умею сдерживать свой аппетит. В пансионе, куда меня отослали, меня научили держать нож и вилку, но того, что он называет застольными манерами, привить так и не смогли. Дома, если меня приглашают обедать вместе с ним и Энни, он требует, чтобы я подкрепилась заранее; я не умею слегка поклевывать

еду на тарелке, из-за того, наверное, что мне так ее не хватало когда-то. Здесь-то мы, слава богу, едим из миски, ложкой, и надо скорей-скорей все заглотать, не то мухи понасядут.

Миссис Ярдли со своим полковником «ужинали» с нами, они из-за концерта остались в лагере. Еду они принесли с собой, у нас на этот счет негусто, пришлось затянуть пояса. Поставщики все реже заглядывают в лагерь, из-за этой болезни.

Полковник уселся со мною рядом, и не очень-то это было весело: у него препротивная привычка лягать коленом соседа, кто бы им ни оказался. Они с Джорджи обсуждали то, что доктор Холл, вперемешку с руганью, говорил про «адскую кашу войны», как он сам выражался. Поскольку с первоначальной целью кампании — помешать русским взять Константин — и без нашей помощи благополучно справились турки, предполагалась, он слышал, осада Севастополя.

— Что-то надо же предпринять, — рассуждал полковник. — Мы не можем поджать хвост и воротиться домой после всех этих фанфар и знамен.

— Да, но когда? — спрашивал Джорджи. — В этом году, в будущем…

Доктор Холл считал проволочку прямым след-

ствием распрей в высшем командовании и метаний в правительстве, при том что ни там, ни здесь не знали наверное, каковы силы русских. Ответственность за сроки боевых действий переложили на плечи лорда Раглана, и тот терзался на кишащей тараканами вилле в Варне, обнаружа, что припасы всё истощаются, а люди мрут как мухи.

— И ведь никак нельзя сказать, чтобы он был обеими руками за план кампании, — объявил полковник. — Одну он потерял при Ватерлоо[13].

— Тараканы, — передернулась миссис Ярдли. — Ну ничего, теперь он на своей шкуре почувствует, каково приходится нам грешным.

— Это между нами, — сказал Джорджи, — но со слов доктора Холла я понял, что за этот месяц погибли восемьсот человек. Он советует нам всем перебраться повыше.

— Где французы, — сказал полковник — Которые тоже, кстати, мрут.

— Dulce bellum inexpertis[14], — вставил доктор

---

[13] notes: 13

Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Раглан (1788–1855), который действительно потерял руку при Ватерлоо, руководил английской армией в Крымской войне. Погиб при осаде Севастополя.

[14] notes: 14

Блажен не знающий войны *(лат).*

Поттер.

Миссис Ярдли сразу начала кивать с умным видом, и доктор Поттер воздержался от обычного своего любезного перевода, так что из-за нее мы обе остались в дурах.

Представление началось час спустя. Доктор Поттер отказался нас сопровождать, решив, что слово «концерт» предполагает неминучую музыку. Самодельная, сооруженная из ящиков сцена стояла на самом берегу нижнего озера. Освещалась она фонарями, которые свисали с протянутой меж заранее вбитых столбов проволоки, развеивая надежды тех, кто предвкушал острые ощущения от искусства канатоходцев.

Декорации были оригинальные и забавные — складная такая перегородка, расписанная с обеих сторон: на одной изображена внутренность железнодорожного вагона и даже прорезано окно, а на другой — роскошный портрет королевы Виктории, и у ног ее лев.

В начале концерта совершенно по-новому исполнили «В венке из роз она была»[15], притом что «она» была представлена дюжим солдатом; переодетый в женское платье, он хихикал в

[15] notes: 15

«В венке из роз она была/В ночь нашей первой встречи» — одна из самых популярных баллад Томаса Хейнса Бейли (1797–1839).

глубине вагона, на голове — глупый веночек из виноградных листьев, над ушами — гроздья. Второй солдат стоял в проеме окна, пощипывал банджо и пел. Из тьмы ему стоном откликался тамбурин.

Первую и вторую строфу уже сопровождали громкие крики и хохот, но когда дошло до слов —

И снова вижу я тот лоб,
Но где венок из роз…

(Здесь тот, который на банджо играл, сдернул с «нее» виноградный венец, а взамен водрузил женские панталоны.)

И вдовий плат от глаз укрыл
Все золото волос;
И плачет в грустной тишине… —

последние ноты совершенно потонули в общем ликовании. Поднялся гвалт такой невообразимый, что певцам пришлось снова исполнять все сначала, и зрители подпевали хором, но были другие слова. Когда я попросила объяснений у миссис Ярдли, она сказала, что у армии своя версия и не кажется ли мне, что оригинал сам

напрашивается на double entendre[16].

Я так удивлялась и так задумалась — неужели весь сыр-бор из-за этих панталон, — что двух следующих номеров почти не заметила; сначала была военная песня, потом выступал жонглер, но того зашикали, согнали со сцены и закидали его же шариками. Эту грубость объясняли, может быть, наши обстоятельства, не знаю; наверно, вдали от дома, бок о бок со смертью человеку хочется, чтобы его услышали.

А потом была еще баллада, которая произвела странное, даже непонятное действие на Джорджи. Называлась она «Спасенный ребенком» и была весьма сомнительного свойства — про человека, который устал от мирской суеты, сидит в церкви и смотрит на ребенка. Он не может себя заставить молиться, так он разочарован во всем, но вот ребенок запел, и пенье его растопило остуженное опытом сердце.

Посреди этого сентиментального красноречия Джорджи вдруг сжал мне руку. Он теперь уже не пьет, так что я даже испугалась. Я не шелохнулась и — ни слова, чтоб его не спугнуть. Он шепнул: «Миртл, бедная моя, ты прости меня».

---

[16] notes: 16
Двойной смысл, двусмысленность *(франц.)*.

— За что? — спросила я.

— За все, — он ответил. — Я так мало с тобой бываю.

— Но у тебя же важная работа, Джорджи.

— Это не оправдание, — он сказал, и он прибавил: — Я к тебе потом приду.

И тогда я стиснула его руку — от любви, вовсе ни в какой не в знак прощенья.

Я так обрадовалась, что рассказать не могу, и в перерыве побежала за доктором Поттером, чтобы тоже не сидел один как сыч. Он при свече искал на себе вшей. Он не мог противиться моей веселости, одернул на себе одежду и согласился пойти на концерт.

Джорджи подвинулся, давая ему место, и я оказалась притиснутой к полковнику, который дул вино прямо из бутылки. Коленкой он дергал еще больше обычного, но что мне за дело?

Прошла приблизительно четверть второго отделения — доктор Поттер от восторга хлопал себя по толстым ляжкам, беспечно потягивал вино из полковничьей бутылки, — но вот на сцену вышел глотатель огня. Он был в театральной кольчуге, а на груди вышит изрыгающий пламя дракон. Внизу было тесное трико, и в публике стали кричать: «Ах, какие ножки!» В парике черными локонами,

нарумяненный, он легко бы сошел за девушку, если бы не усы, загнутые двумя тугими кончиками. Он выступал в вагоне, там он поджег паклю и положил перед собой на тарелку. «Прошу прощения у почтеннейшей публики, — сказал, — но я побалуюсь легким ужином». Сказал, взял на вилку кусок пакли, сунул в рот и — выдул пламя. Так было два раза, и он сжевал всю паклю, мы, по крайней мере, не видели, чтобы он ее выплевывал. Потом он то же самое проделал с сургучом, и багровые капли падали на подбородок и все горели, горели, это было лучше всего. А потом пришел помощник, принес мешок с наклейкой «порох» и помог ему снять парик и кольчугу. Мы увидели темные волосы, стройное бледное тело. Порох был самый настоящий; выбрали наобум офицера, он вышел на сцену и подтвердил.

Глотатель огня весь сгорбился, вытянул шею, как черепаха, распростер руки и так стоял, будто собрался тащить на себе крест Господень. В каждом кулаке он зажал, нам объявлено было, по луковице. Помощник не спеша открыл мешок, разыграл сценку: он туда заглядывает, содрогается. Тут глотатель закричал, что он закоченел и чтобы тот поторопился. В ямку между лопатками был насыпан порох, и так, как вот крестьянин

сеет семена, помощник усеял серовато-сизым порошком эти простертые руки. А потом повернул глотателя, чтобы мы его видели со спины. В прорезанное окно сунули зажженный фитиль. Помощник его взял, поднял, подержал, чтобы все видели, и — медленно — опустил.

Все замерли — слышно было, как лягушки квакают в приозерных камышах. Я украдкой глянула на Джорджи. Он весь подался вперед и наморщил лоб.

Порох вспыхнул — толпа охнула; пламя голубым пушком прошелестело по обеим рукам до самых кулаков; пальцы разжались, выпустив дым; и клочья паленого лука упали на сцену. Сам он, кажется, не обжегся, но, когда раскланивался, болтал руками, как вот дети, если их по ладошкам отхлещут.

Полковник сказал, это жутко опасный номер. Хорошо еще руку не оторвало. Чуть спасовал бы, самую малость поднял голову, и у него загорелись бы волосы. Я повернулась к Джорджи, посмотреть, что он про это думает, но Джорджи не было. Я спросила миссис Ярдли, не видала ли она его, и она сказала, что он вдруг убежал, кажется, узнал кого-то.

Под конец вдохновение артистов нас оконча-

тельно проняло. Кроме глотателя и жонглера, все они, а с ними еще десяток или больше солдат из стрелковой бригады выстроились на сцене по стойке «смирно» и с чувством спели о смерти на войне. Доктор Поттер отчаянно сморкался — верный знак, что он тронут, и это было необычайно, учитывая его отвращение к музыке. Особенно мальчишка-горнист так жалостно дважды вторил строкам *«Над гробом пусть они твердят / Он умер как солдат»*, что просто обрывалось сердце.

Как странно: мы далеко, на чужбине, и королева Виктория жадно всматривается в мглистую ночь, и дрожат голоса под невидными звездами! А какой страшный у песни смысл, как плотно закутана чувством идея, что грош цена нашей жизни!

Доктор Поттер благодарил меня за то, что его вытащила. Сказал, что мужчине невредно поплакать. Они с миссис Ярдли качались на ходу. Мы споткнулись о двоих на дороге. Один еще стонал, другой был уже холодный. Полковник поспешил кликнуть носилки; люди явились сразу, но они едва держались на ногах, так были пьяны. «Ночью все кошки серы» — объявил доктор Поттер и уцепился, чтобы не упасть, за миссис Ярдли.

Я их оставила, как только позволила вежливость. В палатке я привела себя в порядок, как могла, протерла подмышки и другие, еще более интимные места. Потом задула фонарь и стала ждать. Я сама себе шептала — сейчас придет Джорджи.

Вдруг я испугалась, что от меня пахнет луком, но, видно, это в моих ноздрях застрял запах тех луковиц глотателя.

Долго я ждала. Стихли людские звуки, кваканье лягушек снова заполонило ночь. Порой я уплывала куда-то, вот в Чешире, брожу по саду — пузо выпучено, пальцы кромсают лепестки облетелых роз. И стучат-стучат в ушах Эннины спицы. А то вдруг нависла надо мной миссис Харди и давай добиваться, что я сделала с той тигровой шкурой. Из глаз вылилась капля ртути, но это просто в дырявый холст глянула звезда.

Когда наконец я встала и вылезла из палатки, туман катил по озеру, катил прочь, и через небо протянулись полосы рассвета. Совсем близко мужчина и женщина лежали навзничь в росе, и она широко раскинула вывернутые ноги. Они были не мертвые, они спали разинув рты и храпели оба. Наклонив котелок доктора Поттера, в него влезла мордой собака.

Джорджи был в лазаретной палатке, он крепко спал на соломенном матрасе рядом с рабочим столом. Рука его была закинута на грудь огнеглотателя, а тот в больничной рубахе, все еще пылая румянами, лежал на голой земле рядом с ним. Вблизи я его узнала: это был утиный мальчишка. У него был волдырь на губе, в усах застыл каплями сургуч.

Возле меня больной попросил пить. Попытался приподняться, когтя руками воздух. Не обращая на него внимания, я убежала. Он выругался мне вслед.

Когда пробили зорю, я оказалась возле озера, сама не знаю, как туда попала. Алая опушка холмов поблекла и растаяла в белом дне. Так стояла я, а сердце глодала червем обида. Но сама же я возомнила, что надо только любить, и того довольно, что, если тебя тоже любят, не бывает такой одержимости. Когда страсть взаимна, огонь, глядишь, и сгорит дотла. А чем утратить любовь, лучше не знать ее вовсе.

Проплыл по небу журавль, опустился в камышах. Я испугалась, как бы тот ребенок, который на расстоянии плелся за мастером Джорджи, вдруг не стал наступать ему на пятки, требовать к себе вниманья. Я сама ведь знала, что не права;

Джорджи никогда ничего мне не обещал, не будил ложных надежд, и все же… и все же…

Меня окликнул ГОЛОС:

— Какой волшебный концерт, душечка! Сплошное наслаждение, не правда ли? — и миссис Ярдли, рассыпая шпильки, с помятым лицом, по траве пробиралась ко мне. С плеском взлетел журавль. И тут я вспомнила, как просил напиться тот больной солдат, меня как что толкнуло в сердце, и я разревелась.

Миссис Ярдли выказала большую отзывчивость. Я сдуру чуть было с ней не разоткровенничалась. Я призналась, верней, я прорыдала хрипло, что люблю Джорджи. От одних этих слов мне полегчало.

— Ну конечно любите — утешала она, похлопывая меня по руке, — это же так естественно.

— Вчера он обещал после концерта прийти ко мне…

— Прийти к вам, — эхом отозвалась она.

— А сам не пришел…

— Но его врачебный долг…

— Ну а я? — я крикнула. — Тут у него нет никакого долга?

— Ну же, ну, — лепетала она, — бедный ребенок — И она меня заключила в объятья, тем мгновен-

но осушив мои слезы, потому что я больше всего ненавижу, когда меня жалеют. Я не «бедный» ребенок, и никогда я им не была, если только строго не связывать это понятие с нищетой. У меня так и вертелось на языке, что Джорджи кое-чем мне обязан по части детей, но тут она сказала: «Как бы я хотела иметь брата», и я прикусила губу. Я и забыла совсем, что она меня считает сестрою Джорджи.

Когда я вернулась, доктор Поттер уже снова развел огонь, поставил кипятить воду. И пытался молоть каблуком сапога кофейные зерна.

— Помпи Джонс в лагере, — сказал он притоптывая. — Они с Джорджем пошли на реку купаться.

— В тот раз, когда нас с миссис Ярдли напугали собаки, — сказала я, — я видела, как там зерна мололи. У них дробилка такая, с ручкой.

— Да, но у меня ее нет, — отрезал он и еще пуще затопал.

Я переоделась — для утиного мальчишки, не для Джорджи. Он был выше, чем мне запомнился, и у него округлилось лицо. Черные волосы, мокрые от купанья, курчавились, просыхая. Он подошел прямо ко мне, взял за руку, сказал, что сердечно рад меня видеть. Ничуть не робел и не

тушевался. В последний раз мы с ним виделись три года назад, на Рождестве, когда я вернулась после того, как из меня делали леди, и вошла в комнату Джорджи, залитую луной.

Концертная труппа позировала перед фотографом, перед тем как отбыть. Готовить пластинки для камеры оказалось трудно, к коллодию липли мухи. Утиный мальчишка был, оказывается, не солдат, а помощник фотографа, которого он встретил в Честере, и тот его чему только не научил. Их сюда послала одна важная газета. В концерт его включили в последнюю минуту, потому что умер от лихорадки назначенный читать монологи цветной сержант. Перед отъездом из Англии он навестил миссис О'Горман; она всплакнула, когда его увидала. Он ее нашел в добром здравии, только вот ноги отказывают, да чего и ждать в такие года.

Джорджи помогал фотографировать, хотя и пренебрегал ради этого своим врачебным долгом. Снимки собирались послать в Англию, дабы публика видела, как приятно проводят время войска. Доктор Поттер сказал — вот способ сохранения тени по исчезновении материи, имея в виду, как он мрачно пророчил, что иных из схваченных камерой скоро не будет на свете.

Джорджи пустили в фургон фотографа. Это был странного вида экипаж, сплошь крашенный белой краской и с застекленными окнами по бокам. При высадке в Варне он чуть не утонул в грязи.

Утиный мальчишка и Джорджи все утро только и говорили что про плотность раствора, и отличие химического от физического воздействия, и роль температуры, и как важна точность выдержки. Собственное снаряжение Джорджи погибло, когда тот корабль загорелся возле Скутари, и доктор Поттер говорил, что эта болтовня с Помпи Джонсом ему с лихвою заменит недельный отдых.

Потом я встретила миссис Ярдли. Она седлала коня и плакала. Сказала, что не хочет ничего рассказывать, и сразу стала рассказывать. Она застукала своего полковника: подмигивал жене одного гренадерского капитана. Я подумала — и зачем выдавать, что заметила. Подставила бы другую щеку, куда бы было умней.

В полдень артисты отбыли, а утиный мальчишка остался. Он по части времени был сам себе хозяин. Под вечер он меня разыскал; я стояла у палатки доктора Поттера, подстригала ему волосы.

— Ну как, Миртл, — спрашивает. — Игра стоила свеч?

Я ответила, что не понимаю вопроса.

— Ну, надо было в леди превращаться? Никаких нет разочарований?

А сам так и ест меня глазами, всю оглядел с ног до головы, и линялое платье заметил, и сапоги мужские; они очень удобные: лодыжки от насекомых защищают.

— Я не жалею, — я сказала с вызовом. — Если тебя именно это занимает.

— Насколько я знаю, — он говорит, — тебя не очень-то окружили почестями.

Доктор Поттер мотнул головой под ножницами и сказал:

— А вы все такой же наглец, Помпи Джонс, как я погляжу.

— Вы очень наблюдательны, — тот отвечает. — Но из меня же и не делали джентльмена. — Потрогал волдырь у себя на губе. — Больше не буду огонь глотать, — говорит. — Сноровку утратил.

— Иную сноровку и лучше утратить, — заметил доктор Поттер. Они долго смотрели глаза в глаза; ресницы утиного мальчишки были опалены. Доктор отряхнул волоски со своего замызганного облаченья и побрел между палатками прочь.

— Ты с ним не надо так разговаривать, — я сказала. — Он человек образованный.

— Он меня понимает, — сказал утиный мальчишка. — И всегда понимал, и ни при чем тут его ученость. По важным вопросам мы с ним, похоже, тютелька в тютельку одного мнения.

Говорит, а сам в кармане роется.

— Вот, хочу тебе кое-что показать, — и вынимает что-то плоское, завернутое в красный платок Это оказалась медная пластинка. Вся черная и посередке царапины прочерчены.

— Что это? — спросила я.

— Как, ну ты, конечно… у постели мистера Харди стоишь.

Я удивилась, что он столько лет хранил эту картинку, на которой тем более ничего не видно.

— Сегодня вроде как годовщина, — он говорит. — Ведь в августе, если не ошибаюсь, я в первый раз тебя увидел…

— А-а, в том доме, на лестнице с перилами сломанными…

— Еще раньше… ты на станции на ступеньках сидела… под дождем… на Липовой.

— Ты тогда сделал доброе дело. Мальчишка украл у женщины утку, а ты ее обратно принес.

Тут он надо мной расхохотался и объяснил, что это просто уличная хитрость такая. Станция — самое подходящее место: толкучка, свалка,

багаж. Работают парами, деньги делят. Один крадет, другой возвращает. Если даже хозяину на пропажу плевать, почти наверняка какой-нибудь прохожий, у которого полный карман при пустой башке, заметит возврат собственности и отвалит пару монет — в награду за честность. Тут можно еще сказать: «Нет, сэр, я не могу наживаться на самом обыкновенном поступке», — и там, глядишь, еще деньжат подсыпят.

Я не знала, что и сказать.

— Конечно, надо соображать, кого облапошить, не то пообещают тебе уголок в раю, вот и вся твоя прибыль.

В глубине души мне эта хитрость понравилась, но вслух я сказала, что ему должно быть стыдно.

— Этого ты от меня не дождешься, — сказал он, как отрезал, и потом спросил, довольна ли я своей жизнью.

Я кивнула.

— Я знаю про детей, — сказал он. — От Джорджа знаю.

Тут мое сердце так и подпрыгнуло — ведь Джорджи, значит, говорил про меня. Обида из-за того, что он предпочел общество утиного мальчишки, вмиг куда-то пропала, и скучный день вдруг рассиялся весь, и дальнее озеро, только что

хмурившееся под свинцовым небом, сразу просветлело, и белыми стали серые палатки. Кони табунком прорысили к грязной дороге, и крупы у них, как шелковые, лоснились на солнце. Я спросила, что еще говорил Джорджи.

— Только это, — был ответ. — Ну, и что он рад… так как Энни уже не способна производить потомство.

Я могла бы сказать, что это он — причина ее разочарования, его баловство с тигровой шкурой, но разве не было у меня оснований его благодарить за исход? И я только выпалила: «Я его люблю. В нем вся моя жизнь».

Он хмуро поглядел на меня и спросил:

— Но они ж тебя услали… тогда?

— Не одну, — вскинулась я. — Оба раза мы с Энни жили в таком домике… в деревне. Вечером она вязала, а я ей истории рассказывала. Все из головы выдумывала, у нее на книги аллергия. Я ее уважаю. Она никогда не показывала ревности.

— А с чего бы ей, — фыркнул он. — У нее никогда не было охоты.

Он не мог уняться, еще расспрашивал. Поинтересовался, что думает про все старая миссис Харди, и я сказала, что не знаю, но ей, как и мне, всего дороже счастье Джорджи.

Он отвел глаза. Стал грустный какой-то. Потом пробормотал: «Слава богу, я не женщина».

Тут вернулся доктор Поттер и принес баранью ногу. Ликуя, сообщил, что обнаружил возле озера опрокинутую продовольственную повозку. Она была пустая, но он поискал рядом и напал на это мясо у самой воды.

— Повезло, — сказал утиный мальчишка. — Особенно, если кучера поблизости не наблюдалось.

— Конечно нет, — оскорбился доктор Поттер. — Иначе я бы ему заплатил.

Он опустился на стул и, зажав между жирных коленей эту баранью ногу, стал с нее обирать червей. Скоро утиный мальчишка ушел.

— Он знает про детей, — сказала я.

— От миссис О'Горман, разумеется?

— Джорджи ему сказал.

— Значит, осел твой Джорджи. Никогда нельзя откровенничать с такими, как Помпи Джонс.

— Что он вам сделал? — сказала я. — Джорджи его любит, считает его добрым, и я тоже.

— Оставь, — сказал он. — Он еще насолит вам обоим.

— Он мой портрет хранит, — не сдавалась я.

И тут доктор Поттер объявил, что это хранение

портрета — одна аффектация и доброта показная. «Когда-нибудь маска спадет — пригрозил он. — Как лапидарно выразил это Сенека, nemo potest personam diu ferre fictam[17]».

Я не стала дожидаться перевода, ушла. Вот если бы это Джорджи, я думала, хранил мой портрет, пусть совсем почернелый от времени.

[17] notes: 17
Никто не может долго носить личину *(лат).*

Пластинка пятая. Октябрь 1854 г Похоронная процессия под сенью Беатрис

Я теперь без конца вижу сны, и не только ночью. В прошлом — сколько лет обратилось в прах за эти восемь недель — лишь наплыв темноты навевал на меня грезы. Тогда образ Беатрис стоял за моими сомкнутыми веками. Теперь она вольно облетает мою голову; я бы принял ее за ангела-хранителя, если б только она не хмурилась так. На днях Джордж меня разбудил, тузя кулаком по плечу. «Поттер, перестаньте. Перестаньте оправдываться». Я возразил, что ничего не говорю, но едва эти слова слетели с моих уст, лицо жены, искаженное злобой, встало передо мною. Ветер рвал на мне одежду, дымом дул в глаза, но меня держал в плену ее взгляд. Чтобы одолеть наваждение — ведь не спятил же я покуда, — я напомнил себе, что утоленье жажды водой, в которую мочились умирающие, и голодное брюхо непременно порождают галлюцинации.

Мы оставили Варну на второй неделе сентября, вместе с шестидесятитысячным английским,

французским и турецким воинством. Женщин многих не пустили на борт, и они выли, отринутые, на берегу. Миртл, в крестьянском платье, темно загорелую и ведущую в поводу навьюченного багажом пони, впустили беспрекословно. Миссис Ярдли не было среди нас; она рассорилась со своим остроглазым полковником и отбыла на родину. Я радовался, что она больше не станет докучать Миртл. Они были несовместны, не в последнюю очередь из-за отношения к добродетели, притом что миссис Ярдли считала податливость первейшим грехом.

Джордж бушевал, его вынудили бросить большую часть лазаретного оборудования, в том числе каталки, носилки, операционные столы. Для них попросту не нашлось места. Он хотел уж сойти на берег и потребовать их погрузки, но был удостоверен, что все это отправят нам вслед.

Два дня дожидались мы отправки, а болезнь меж тем не унималась. Ночью покойников бросали за борт, и они шли ко дну, пуская пузыри в фонарном свете. Утром, освободясь от грузил, они, вздутые, восставали из мертвых и всплывали навстречу солнцу.

По выходе в море кое-кто счел, что мы являем собой великолепное зрелище, построенные в

пять линий, в каждой по дивизии, французы на правом фланге, слева наш флот, турки сзади, лорд Раглан во главе. Я не разделял этого энтузиазма, люди вокруг не радовали взор, некогда щегольские мундиры обтрепались, и прохудились сапоги.

В довершение зол первой же ночью загорелся трюм. Перегрелось смешанное с углем брикетное топливо. Итог — самопроизвольное возгорание. Дым был адский, всем пришлось выносить на палубу припасы. Только когда шлангами удалось загасить пламя, узнал я, что девяносто тонн патронов, не защищенных магазинами, погрузили рядом с углем. Вышвырнуть все это за борт никому и в голову не приходило, тогда как был весьма значителен шанс отправиться в Царствие небесное или в тартарары.

Мы высадились в Керкинитской бухте на западном берегу Крыма 14 сентября. Никто не знал, имеют ли русские понятие о нашем приближении, и меня томили недобрые предчувствия о том, что нас ожидает. На поверку нас не ожидало ровно ничего, по крайней мере — никаких людей. Берег был пуст, и на дальней гряде холмов ни войск не было, ни пушек.

Мы разбили бивак дальше на берегу и там

ждали, когда высадятся конники и артиллерия. Ночью хлынул дождь, и не реденький вам английский дождик, а страшный обломный ливень, он гасил огни и взбивал землю так, что она превращалась в трясину. Кое у кого были палатки, кто прикрылся одеялами, но ничто не выдерживало напора воды, и все промокли до костей. Письмо от Беатрис, содержащее уютные домашние известия: погода прекрасная, дети здоровы, воздух Англии подстрекает аппетит, — пошло безнадежными пятнами. Я его бросил в грязь; ни разу в нем не упоминалось, что она соскучилась.

Зорю пробили наутро в три часа, и мало кого из ходячих пришлось расталкивать после сна. Дров не было, и костер не развели, выступили без чая. Шляпа, которая прежде была мне так велика, вся скукожилась, и пришлось ее привязать бечевками.

Ушло еще два дня, к счастью ясных, пока разгрузили провизию, вернули больных на суда и похоронили мертвых. Джордж был в отчаянии, обнаружа, что не выгружено ни единой повозки и до ужасного мало носилок. Еды тоже не хватало, хотя некие татары пришли попозже в лагерь, выражая намерение продать нам овец и несколько бурдюков вина. Едва сделка была

заключена — повара уже резали глотки, — вдруг откуда ни возьмись налетела свора собак, окружила живых овец и ловко отогнала прочь. Вслед ретировавшимся татарам прогремели выстрелы, но их преследовать охотников не нашлось.

Утром капеллан отслужил молебен. Я человек неверующий, однако надтреснутым хором выпеваемые знакомые псалмы вызвали мне на глаза слезы. Под вечер Джордж получил приказ доложиться на одном из судов. Вернулся он с известием, что освобожден от теперешних своих обязанностей и отныне числится в Королевских северных британских стрелках — шотландском полку, — ибо предшественника его отправили за борт между Мальтой и Галлиполи. Ему достались в наследство съёженный офицерский мундир, миска для кровопускания, кожаный фартук, почти новый, и жестянка с пиявками, обитатели которой, однако, приказали долго жить. Стрелков не обязывали ходить в килтах, и Джордж считал, что должен благодарить небеса хоть за такую поблажку.

Наконец, числа восемнадцатого, был получен приказ выступать. Двинулись мы бодро, с большой помпой, с оркестром. Все, что ожидало нас впереди, было лучше того ада бездействия,

который мы покидали. Не отягчал нас и лишний багаж, у каждого на спине или в седле было не больше того, что умещалось в скатке. Разве не нес он с собой единственно драгоценное — оружие и мужественное сердце! Покуда у кавалериста есть пика и меч, у пехотинца — ружье Минье, у артиллерии — гаубицы, — что же еще, о Господи, нужно на этом свете! Такие мелочи, как палатки, котелки, лекарства и перемена белья, приложатся непременно!

Весь день мы шли. Оркестр через час умолк. Едва мы свернули от моря, опять налетели мухи. Мы вышли без воды и нигде по пути ее не находили. Кое-кто из больных приложился к вину и так нашел свою погибель. Они лежали вдоль дороги, уснув смертным сном. Сперва мы пытались их растормошить, говорили о родине, о матери, о невесте. Потом шагали дальше не оглядываясь.

Я не стал обзаводиться лошадью, сочтя это лишней морокой, и теперь жалел. Миртл шлепала со мной рядом. Как ни была измучена, она не решалась влезть на своего любимого пони, считая, что и без того он слишком тяжело нагружен. Его назвали Крутой — в честь той улицы, где ее нашли. Она взяла с собой два апельсина и один все выжимала на губы мальчику-трубачу. Последние

слова его были забавны. Он сказал: «Боженька! Погоди немного!»

Оставшийся апельсин Миртл хотела сберечь для Джорджа, но, благодарение богу, он ушел далеко вперед. Клянусь, это спасло жизнь нам с нею обоим.

Когда не спирало дух, я рассказывал Миртл о поселениях по соседству, которые некогда я посетил; какими гроздьями там рос виноград, и такой черный хлеб, что на нем одном можно продержаться месяц целый. Она жевала апельсинную корку и смахивала мух с лица.

Снова мне пригрезилось, будто я брожу по сливовому саду в Ежевичном проулке, Беатрис качается на качелях, задирает свои белые туфельки. «Осторожно, Беатрис, не так высоко!» — кричу я. А она в ответ: «Это ты боишься высоты!» — и еще пуще отталкивается. Я ушел в надежде, что она пойдет следом, но она не пошла.

— Она никогда не боялась его потерять, — сказал я, и сказал, верно, вслух, потому что услышал, как Миртл отвечает:

— Если вы это про Энни, так с чего бы ей? У ней никогда не было охоты.

Мы одолели лесом двадцать пять миль, взбираясь все выше, и в сумерках стали биваком у

какой-то речки. Ничто, думал я, осел, даже переход Мардония через долину Платей[18] нельзя сравнить по жестокости с нашим маршем.

Считалось, когда мы высадились, что армия прямиком двинется на Севастополь. Из-за трений между лордом Рагланом и французами — его сиятельство высказывался за атаку с севера под прикрытием флота, тогда как французы предпочитали бросок с юга, — планам этим не суждено было сбыться. Итог — несколько дней мы потеряли в бездействии, и русские меж тем успели собрать подкрепление.

Наконец пришел приказ об окружении Севастополя. Мне всегда нравилось слово «круг», всем нам напоминающее детские игры-считалки: уна-дуна-рекс; раз-два-три — это-верно-ты! et cetera. Доктор Джонсон[19] отводит кругу в своем словаре большое место: линия, продолжаемая, покуда конец ее не сойдется с началом; общество, обступившее важную персону; порочность доказательства, когда предшествующее положе-

[18] notes: 18

Мардоний — военачальник и зять Дария I; в 492 г. до Р. Х. возглавил победоносный поход персов во Фракию и Македонию. Погиб в битве при Платеях в 479 г.

[19] notes: 19

Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский писатель и лексикограф. Выпустил в 1755 г. знаменитый «Словарь английского языка».

ние доказывается посредством последующего, а последнее выведено из предыдущего. Вот эта дефиниция, на мой вкус, как нельзя более подходит к теперешней неразберихе, хотя «вышел зайчик погулять» куда больше нежит мой слух.

Вчера Крутой пострадал от несчастного случая. Мы отправились раздобыть фруктов для Джорджа. Провизии нам не завозят, без того скромный рацион свелся к сухарям и солонине, и Миртл решилась попытать счастья в деревнях по соседству. Бедняга Нотон, я вот все думаю, нажил бы состояние, останься он здесь и займись бакалейной торговлей.

Раньше еще, во время мучительного окружения Севастополя и нашего передвижения к Херсонской долине, я сторговал норовистую кобылу за пятьдесят фунтов, ибо, по понятным причинам, слишком много вокруг было лошадей без седоков. Еще удалось мне разжиться шинелью и фуражкой. Несмотря на столь благополучное снаряжение, мне вовсе не хотелось сопровождать Миртл, но я это почел своим долгом.

Долина, где мы расположились, очертаниями слегка напоминает остров Уайт, на востоке стоит Балаклава, на юге Севастополь. С обрывистой Сапун-горы открывается вид на реку Черную и

на Балаклаву. Мы пустились на восток, и я сразу предупредил Миртл, чтобы не спешила, ибо тропа усеяна галькой, скользкой после дождя. Миртл напевала, хотя как можно сохранять веселость в столь мерзких обстоятельствах, непостижно моему уму.

Мы и получаса не прошли, как вдруг с высокого кряжа нам открылась Балаклава и холодной стеной, исполосованной корабельными мачтами, встало небо. Тут кобыла моя споткнулась, в сердцах всадила зубы в бок Крутому, тот от боли взвился и сронил Миртл.

Тотчас она крикнула, что нисколько не ушиблась, и вскочила на ноги. Мне показалось странно, что она не бросилась сразу к своему пони; нет, вся дрожа, она указывала на землю. Там, в нескольких дюймах от того места, где она свалилась, лежала человеческая нога — нога, оторванная чуть выше колена, и пальцы торчали из разодранного кавалерийского сапога.

— Я купил в Балаклаве медовую дыню, — сказал я. — У старой женщины на муле.

Это была правда. Неясно, в какое время года я впервые посетил тот греческий рыбачий поселок, кое-что я стал уже забывать, но едва ли это была зима, зимой откуда взяться дыне.

— По-татарски место называлось Кадикой, — продолжал я. — Что означает — деревня судьи.

Миртл слушала меня вполуха, не выказывала ни малейшего интереса, а жаль, у меня в запасе было еще много относящихся к делу фактов.

Город Балаклава расположен на берегу залива, далеко врезающегося в сушу. Дальше лежит бассейн темной воды, со всех сторон окруженный крутыми утесами, достигающими стофутовой высоты, и лишь в одном месте это кольцо разорвано узким ущельем. В мои времена греки имели собственный суд и независимую управу, которой глава был подотчетен русским властям.

Бродя вдоль берега, я отметил наличие медуз — прямой знак, что это не озеро, но залив, узкой протокой связанный с морем. Склоны вокруг состояли не из нуммулитового известняка, как я полагал, но из юрского камня и, бледно-розовые, светились причудливо в размывах заката. На вершине стояли многочисленные развалины, включая остатки замка, от которого открывался путь к заливу. Я бы взобрался повыше для более пристального расследования, но запыхался и потому повернул обратно к поселку, где встретил ту женщину с дыней. Прогуливаясь, утирая сок с безбородого лица, я пришел к заключению, что

другую гавань, столь надежно укрытую от бурь и внезапного нападения, найти невозможно.

У меня тогда был при себе переписанный пассаж из десятой песни Гомеровой «Одиссеи», где он рисует приближение к стране лестригонов:

> *В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,*
>
> *Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле*
>
> *Устья великими, друг против друга из темныя бездны*
>
> *Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.*
>
> *Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,*
>
> *Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным*
>
> *Рядом поставив…*[20]

Упоминая этот пассаж, я не хотел бы, чтобы меня обвинили в попытке доказательства с негодными средствами: нет же, я, напротив, вполне согласен с профессором Страйхером из Керчи,

---

[20] notes: 20
Одиссея, 10, 87–93 (перев. В.А Жуковского).

считающим, что нет решительно никаких доказательств в подкрепление сомнительной теории, будто бы Одиссей входил в Черное море. Но, бог ты мой, как странно вдруг обнаружить место, так чудесно совпадающее своим ландшафтом с описаниями певца.

Речь идет, разумеется, о прошлом Балаклавы. Судя по тому, что порассказал мне Джордж, ей теперь, увы, не до медовых дынь. Там сейчас штаб-квартира британских военных сил, и за последние две недели Джордж туда наведывался дважды, пытаясь раздобыться лекарствами и одеялами. Грязь на улицах несусветная, гавань забита взбухшими останками лошадей, верблюдов, а то и людей — все это ужасает. Наши суда ломятся от припасов, но из-за бюрократии, бестолковщины и трудностей перевозки они гниют в трюмах. На берегу, под носом у голодных псов, сотнями валяются раненые, ожидая, когда их подберет кишащий крысами госпиталь Скутари.

Чем такая жизнь, по мне — уж лучше смерть. Странно, как подумаешь, что смертник, ничего не ведающий ни об истории, ни об искусстве, упирает мутный взор в эти карликовые кипарисы, скупо раскиданные по склонам, совсем как на полотнах божественного Тициана.

— Лучше нам вернуться, — сказала Миртл, отводя совершенно белое лицо от предмета под ногами.

— Гомер, — сказал я ей, — изображает лестригонов людоедами.

Она была, верно, слишком огорчена, потому что, не ответив, поскакала дальше.

Утром меня навестил Джордж. Я мало его вижу в последние дни, он так занят, на фартуке так много пятен. Он весьма участливо спросил, здоров ли я. Я ответил — вполне здоров, благодарствую.

— Миртл говорит, вы на себя не похожи. Конечно, вчерашнее злоключение…

— Это пони был укушен, — я сказал. — Не я. К тому же Беатрис всегда под рукой и утешит.

Он странно на меня глянул. Я улыбнулся и его уверил, что галлюцинациями не страдаю, просто мысли о Беатрис меня спасают от умопомрачения. Я понял, что его встревожило: я не помянул тот человеческий фрагмент, о который споткнулась Миртл. Я мог бы ему порассказать, как слышал дождь, грохочущий по тропе, и он отзывался в моих ушах смертным хрипом. Я точно мог описать самый угол, под каким торчали те пальцы… но будь в моей власти холодно и бесстрастно рассуждать о таких вещах, как,

без сомнения, дано ему, если по целым дням он может смотреть на подобные ужасы, моя жизнь была бы легче и речь свободней.

А так мне приходится держать себя в строжайшей узде, чтобы не поддаться впечатлению минуты. Это и разумеет Гораций, когда советует внимательно останавливаться мыслью на том, что наилучшим образом в нас поддерживает спокойное состояние духа. Я должен сносить и терпеть все, как оно есть, не мечтая ничего изменить. Вот почему я пристально вглядываюсь в прошлое с целью проследить, что привело меня в это Богом забытое место именно в этот исторический миг — судьба или случай.

Так, услыхав грубый говор шотландского кавалериста, я задумываюсь о детских своих связях с его корнями. Хотя родом из Манчестера, отец мой одно время был представителем Лейтонского стекольного завода, в каковом качестве колесил по Гебридам в поисках келпа. Воротясь домой из такой поездки, он привез мне однажды четырехколесную жестяную кибиточку, запряженную деревянной лошадкой. Перед тем как меня уложили спать, я успел разобрать тележку. Мною двигала вовсе не страсть к разрушению, но любознательность: хотелось понять, как сла-

жены все ее части. Не помню, пришлось ли мне отведать за это розог, впрочем, едва ли, отец был добрый человек.

Там, в Шотландии, впервые пристрастился я к геологии; берега Кромарти были усеяны обкатанными обломками горных пород, происходящих от западных глинистых сланцев. В последующие наезды, все свое детство я с прилежным наслаждением бродил по грядам расколышенной частыми штормами гальки. Года через два после того, как мы поженились, я повез туда Беатрис в надежде привлечь ее интерес к общим свойствам порфиров, гранитов, гнейсов, кварцев и слюдяных сланцев, засыпавших берег. Увы, тут вмешалось злополучное ракообразное, которое, она уверяла, цапнуло ее за лодыжку, хоть я не обнаружил ни малейшей отметины. Итог — мы тотчас повернули домой и всю дорогу молчали.

Не успел Джордж снова отбыть к своим ужасным обязанностям, явилась Миртл и попросила, чтобы я помог ей лечить пони. Уверен, это Джордж ее на меня напустил. Рана у животного несерьезная; многие лошади в куда худшем положении, да и люди, если на то пошло.

Миртл — интереснейший субъект в рассуждении того, что важней, судьба или случай.

Слишком тут много разных «если бы». Если бы к ней не привязалась Беатрис, разве не исчезла бы она в сиротском приюте? И если бы злополучная проделка Помпи Джонса не положила конец надеждам Энни на материнство? И не встань старая миссис Харди в то утро с левой ноги, разве послали бы Миртл в город с Джорджем? И потом: ведь он вернулся в Ежевичный проулок не обычной своей дорогой. Вдруг бы вопли той бабы отдались в другой улице, неуслышанные, что тогда? Или бы мистер Харди залег в своей синей комнате с насморком…

А быть может, случай с судьбою взаимосвязаны и последняя не могла бы исполниться, не вмешайся первый. Шероховатой скале, стоящей далеко от прибоя, вовеки не сделаться гладкой.

— Миртл, — приступился я, — ты полюбила Джорджа с самого детства, не так ли?

— Так, — сказала она.

— Но почему?

— А вы почему полюбили Беатрис? — возразила она и, бросив мне чуть насмешливый взгляд, прибавила: — Она часто с вами строга. Я видела раз, она вам пощечину влепила.

— Я достиг возраста, когда мужчине пора жениться. И к тому же, быть может, в моей природе

— извлекать удовольствие от того, что со мной обращаются дурно.

— Но не в моей, — сказала она и велела мне плотней держать за шею Крутого, пока она протирала ему бок мокрой тряпкой.

— Он хорош собой, — рассуждал я. — Но ведь ребенок редко замечает такие вещи.

— Почему же? — вскинулась она. — Да нет, дети даже скорей замечают красоту, чем взрослые. Их не ослепляет предубежденье.

— Замечают, да, — согласился я. — Но не воспринимают.

— Чушь, — сказала она, и уголки губ у нее опустились.

— К тому же, — продолжал я, — я не замечал, чтобы Джордж выказывал к тебе особенный интерес. Не больше, чем все мы, во всяком случае… когда ты уже вышла из лепечущего возраста.

— Он и не выказывал, — она сказала. — Никогда, лишь однажды, но мне и того довольно.

Я потребовал объяснений, но она на меня смотрела с вызовом. У нее сильное лицо, глаза глубоко посаженные, твердые. Несколько недель тому назад она остригла волосы, спасаясь от вшей, и, если бы не платье, теперь могла сойти за мальчика.

И тут-то я вышел из себя, я обозвал ее грубиян-

кой. Я был несправедлив. Сердиться следовало не на нее, на Джорджа. Она стояла — тряпка в руке, — от вызова не осталось и помину, и какие-то особенно грустные стали у нее глаза. О Господи, подумал я, как же мы виноваты перед бедной девочкой. Когда б не случай, быть бы ей горничной или добродетельной супругой честного рабочего.

В тот вечер я с превеликим удовольствием сопровождал Джорджа в гости к некоему капитану Джерому. Тетушка его прислала корзину гостинцев, и, благодарный Джорджу за исцеление от кишечных мук, он пожелал щедро поделиться своим богатством. Миртл не пригласили. Она осталась в обществе почтенной особы, муж и сын которой оба были в Легкой бригаде. Сочли, что пригласить одну даму, не приглашая вторую, неучтиво, да вдобавок на каждого пришлось бы меньше еды.

Итак, к нам присоединились двое господ: капитан Фрамптон из 57-го и юный лейтенантик по фамилии Гормсби, участвовавший в стычке при Альме[21]. Последний мне показался чрезвычайно нервным субъектом, совершенно пришиблен-

[21] notes: 21

Битва при Альме (20 сентября 1854 г.) — первая битва в той Крымской войне, главная победа англичан и французов; их войска расчистили путь к Севастополю.

ным; он едва удерживал вилку в трясущейся руке и дважды расплескал вино.

Капитану посчастливилось, он жил в четырех стенах разрушенного трехэтажного дома, примерно в четверти мили от лагеря. Правда, окна были выбиты и повсюду стояли ведра, ибо дождь натекал сквозь дырчатую крышу, зато ужинали мы за настоящим, пусть шатким, столом и стул подо мною сохранил существенную часть своей обивки.

Говорили только о войне, о том, в частности, как Первая дивизия под командой герцога Кембриджского сперва не поддержала Легкую бригаду. Очевидно, из-за неопытности герцога. Зато — после опасной проволочки — гренадеры и гвардейская пехота наконец соединились и дружно погнали русских.

Я сидел и молчал. С чего бы мне ввязываться в разговор? От всех этих бригад, дивизий и полков у меня решительно заходит ум за разум. Главным образом, не мог я внести свою лепту и в обсуждение того, как секли на днях упившегося на посту стрелка. Ему было положено семьдесят плетей, но он рухнул после пятидесяти, и потом обнаружилось, что в спине у него засел осколок ядра после встречи с неприятелем накануне. Джордж его

осмотрел и сказал, что, скорей всего, он выживет, но сильно поврежденный в уме и немощный телом. Я пытался отвлечься, я воображал в свечном пламени Беатрис, она поджимала губы, осуждая мою манеру разгребать еду на тарелке. Сиди она рядышком, уж непременно бы цапнула себе кусочек, в особенности если бы подавали Эннин пудинг с коринкой.

Мне полегчало, правда ненадолго, когда капитан Джером завел речь о вероятиях нашего возвращения домой к Рождеству. Оставя в Ирландии дом и обширные конюшни, он тосковал по своим коням. Проклятый осел — его собственная оценка, — он доволок одного из самых любимых скакунов, Дьяболо, до самой до Керкинитской бухты, а там тот заболел и погиб. Неизвестно отчего; да и как столь тонкое, холеное и совершенное создание может выжить в подобных условиях? Он живо ощутил утрату и час целый, если не больше, стоял на берегу, глядя, как любимый коник уплывает в море. Он рассчитывал, что непременно встретится с этой дивной животиной в лучшем мире, хотя от души надеялся, что встреча отсрочится на несколько годков. Я пробовал слушать эту белиберду с приличествующей растроганностью, но не выдержал. Не выношу

подобного сюсюканья.

— Платон, — вмешался я, — считает мир четвероногих как бы ухудшенным вариантом человечества, и чрезвычайно грубым притом.

Едва эти слова слетели с моих уст, я в них раскаялся: лицо Джерома не предвещало добра. Спас меня юный Гормсби; до той поры молчавший, он выпалил:

— Нет более грубого скота, чем человек.

Джером вертел стакан с совершенно невозможным видом. Капитан Фрамптон, давно свалившийся под стол, издал протяжный, томный вздох. Снаружи густой пушечный гул падал с высоты и перекатывался в ночи. Внутри плюх-плюх-плюхались в ведра дождевые капли.

Наконец я сказал:

— Вы знаете, разумеется, миф о том, как Афины пошли войной на город, основанный Нептуном на острове Атлантида…

— Мы не знаем, — сказал Джордж — но вы, я уверен, нас просветите.

— Боги попустили великую победу, но и победителей и побежденных поглотило землетрясением, и остров погрузился на дно морское.

— И что нам следует из этого заключить? — спросил капитан Джером, не отрывая глаз от

какого-то насекомого, прявшего воздух вокруг свечи.

— Ну как же, — ответил я. — Что совершенно прав мистер Гормсби. Мы самые презренные существа и заслуживаем наказания, назначенного богами.

Мы с Джорджем ушли в полночь, пешком. Луны не было, и мы в темноте натыкались друг на друга, меся сапогами грязь.

— Поттер, — сказал Джордж — Это простое недомыслие или в вашем намерении было оскорбить?

— Оскорбить…

— Неужели вам недостает душевной тонкости понять, что эти люди смотрят в глаза смерти?

— Именно моя душевная тонкость, — крикнул я в сердцах, — не позволяет мне спокойно созерцать совершающееся. Я не то, что вы. У вас годами руки были в крови по локоть…

— Незачем кричать. Я не глухой…

— Для вас тело всего лишь комбинация мяса и костей. Мозг нисколько вас не занимает…

— Мозг, — сказал он, — точно также разрушается от удара. Он не прочнее остального.

— Я человек, привыкший часами сидеть за книгой! — крикнул я. — Тут я споткнулся и непре-

менно бы упал, если бы не его рука. — Я человек, привыкший спать, уткнувшись в спину своей жены…

— Женщины, — пробормотал Джордж — Вечно эти женщины.

Вот она — стена, разделяющая нас. Я решительно не постигаю этого его отвращения к женскому полу, если забыть о грузе той любви, которой навьючила его мать. Мы не вправе забывать об упадке, предшествовавшем падению Рима. Как современный человек, я убежден, что союз с противоположным полом желателен не только в целях продолжения рода, но из-за благотворного своего влияния на душу. Впрочем, мои рассуждения, быть может, уязвимы, поскольку в существовании сей эфемерной субстанции я далеко не убежден. Я заставил было себя поверить, будто бы Миртл, соблазнив Джорджа (как иначе тут выразиться, если она сама к нему вторглась в ту ночь, окропленную луной), переделала его. Случайное появление в Варне изрыгающего пламя Помпи Джонса и мой набег без доклада в лазаретную палатку в поисках противопоносного средства положили конец этому заблуждению.

Откуда-то справа донесся топот, лязг лопат; мимо шел пикет. Крошечной искрой проплыл по

черноте окурок, голос кликнул: «Черт бы побрал этот дождь. Скоро мы все рыбой станем, ей-богу».

Джорджа ожидало дурное известие. Сообщили, что Уильям Риммер погиб от ранения в голову. Как обыкновенно это бывает, предполагалось, что он не мучился. Пуля угодила прямиком между глаз, и он угас, как свечка.

Опять заявился этот Помпи Джонс, на сей раз единолично правя фотографическим фургоном. Его начальник в отсутствии, и он похваляется, будто бы у него важное задание от Королевского медицинского колледжа, а именно производить снимки, запечатлевающие ранения, будь то у живых, будь то у мертвых. Соответственно, он, разумеется, проводит время в обществе Джорджа, но иной раз я его замечаю за беседой с Миртл. У фургона чудовищный вид: поблизости разорвался снаряд, и его окатило градом осколков. Я застукал Миртл за странным занятием: она похлопывала его по бокам, будто это животное, которое надо утешить. Два окна вылетели, краска почти вся слезла и открывала бордовые разводы и невнятно золотую букву со смещенной перекладиной — не то П, не то Н.

Скоро нам выступать, дальше по долине реки Черной, к месту под названием Инкерман. По-мо-

ему, я уже бывал там в более светлые свои дни, да, я вспоминаю развалины того же названия на горных высотах.

Не желая оставаться в неведении как о целях, так и о маршруте нашего похода, я вынужден был спросить капитана Джерома, куда в точности мы направляемся. Он объявил только, что мы составили часть британских осадных сил справа от Севастополя, и более объяснений я от него не добился, зато он нехотя мне одолжил русскую карту местности. Насколько я мог разобраться, кряж под названием Инкерман на западе разделен Сарандинакиной балкой и, будучи с востока покрыт густыми лесами, с запада весь гол и открыт. Так что снова мы окажемся во власти стихий.

Право, даже сам не знаю, стоит ли труда складывать палатку, она в плачевном состоянии, вся залубенела и в дырьях. Для моего здоровья лучше было бы спать в лазарете — хотя и тот ненамного сохранней. Зато по части транспорта я теперь куда лучше обеспечен: третьего дня больше двухсот лошадей из Легкой кавалерийской бригады бросились в лагерь, лишась седоков, полегших в

долине недалеко от нас к северу[22].

Устроили аукцион, и я купил себе другую кобылку, настолько потрясенную пережитым недавно обстрелом, что предельная нервность перешла у нее чуть ли не в тупость, так что она смирная. У нее лопнули барабанные перепонки, но она прекрасно слушается тычков моего сапога. Несчастную клячу, которой прежде владел, я отпустил на все четыре стороны и с тех пор не видел.

По утрам я отправляюсь обычно добывать топливо для костра. Почва здесь хоть и каменистая, вдруг да и выкинет низкорослый дубок. Правда, эти бедненькие деревца все давно повырублены, но кое-где корни крепко вцепились в землю. Казалось бы — благодаренье дождю, — ничего не стоит их выкопать, ан нет, крутизна тут такая, что приходится таскать с собой кирку.

На днях, занятый этой нудной работой, взбираясь вверх по склону, я, можно сказать, стал свидетелем необычайной хитрости, хотя многие, допускаю, на это взглянут иначе. Солдат

---

[22] notes: 22

25 октября 1854 г. героическая кавалерийская атака англичан в битве при Балаклаве окончилась неудачей и гибелью более 200 из 673 кавалеристов. Воспета лордом Теннисоном в знаменитой поэме «Атака Легкой кавалерийской бригады» (1855 г.).

— возраст не определю, у всех, кроме совсем желторотых, сейчас одинаково впали глаза и осунулись лица — стоял прислонясь к валуну и глядя себе под ноги. Я заметил, что он вверх тормашками держит ружье, и решил, что подстерегает, видно, когда вылезет из-под земли какая съедобная тварь.

Я совсем недалеко отъехал, как вдруг слышу выстрел и вслед за тем — стон. Возвращаюсь и вижу, что он стоит на одной ноге, поджав другую. В сапоге рваная дыра, и оттуда хлещет кровь Несколько мгновений оба мы молчали, потом он жалостно поглядел на меня и спросил:

— Вы ничего не видали, сэр?

— Нет, — отвечаю, — я был далеко.

— У меня, видно, рука соскользнула, сэр…

— От усталости чего не бывает, — сказал я. — Внимание рассеивается.

— Истинная правда, сэр, — подхватил он с живостью. — Задумался я.

Я ему помог залезть в седло и повел под гору мою кобылу. Он мне рассказывал о своем житье-бытье, как он пирожками торговал для трактиров по всему Хокстону. Лепил их отец, а он сбывал по пенни штука, и были они повкусней иных-прочих, правда, наперчены сильно, чтоб не

распознать, из какого мяса начинка. Он в банке с собой носил соус и как сторгуется с кем, пальцем корочку проткнет и туда его вливает. На день рожденье ему вот восемнадцать будет, и у него были сестренки, только он ни одной не помнит лица, поумирали все, когда еще он маленький был. Нет, ему не больно; ну, не хуже, чем когда зуб болел и щеку разнесло.

Было бы это, рассуждал я, меньшей трусостью, пальни он себе не в ногу, а в висок? Хватило бы у меня духу себя изувечить в подобных обстоятельствах? Пожалуй что нет. Я сдал его Джорджу, сказав, что он лежал во рву и я его подобрал.

Утром, перед тем как нам выступать из лагеря, отслужили общую панихиду. Из-за недостатка дерева плотники сколотили всего несколько ящиков, только для офицеров; остальных покойников завернули в старые палатки или в клеенку и сложили рядами на арбы, захваченные в соседних деревнях.

Кладбище, бывший сад, располагалось в лощине неподалеку. Из уважения к случаю боги укротили дождь и дымный луч пробил тучи. Когда телеги вихляя потянулись по каменистой дороге, доморощенные саваны растрясло, и обнаружилось, сколь многие сходят в могилу босыми.

Иные из провожающих яростно воротили носы от такого вида, именно те, быть может, чья обувка теперь стала справней, чем прежде. Сам я ничего зазорного тут не нахожу; как выпевал капеллан, «… наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял»[23].

Помпи Джонс установил свою треногу, подлез под ширму. Что-то есть от черной магии в мастерстве фотографа — он останавливает время. Капеллан перестал читать, стоял недвижно с требником в руке, все обнажили головы; шевелились одни покойники: их пелены хлопали на ветру.

Я, пожалуй, не в восторге от этой фотографии. Она берет реальность в заложники, но мысль в голове она поймать не может. Стоит, скажем, человек с печалью на лице, а у самого на уме блуд, или ему весело. Линзы бессильны ухватить вихрь, клубящийся под черепной коробкой, не могут выставить напоказ греховные мечты, что, впрочем, к лучшему. Я, например, оторопело глядел на закутанные трупы, а самому мерещилась Беатрис в воскресной ночной рубашечке. Ночью, возбужденная, конечно, утренней праздничной

---

[23] notes: 23
Книга Иова, 1, 21.

отсрочкой, она обычно первой приступала к делу, взбиралась на меня, дыша шоколадным пудингом, и ляжки остро, будоражаще пахли у нее креветкой и рекой.

Снова припустил дождь. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень…»[24].

И тут-то, стоя перед аппаратом, устремив глаза на этот ряд мумий, которых вот-вот предадут слякоти, я увидел Беатрис. Она меня звала. Я зажмурился, чтобы ее стереть, но нет, она осталась на месте и манила меня к себе согнутым пальцем. Я подчинился, хотя и без охоты. Она поплыла вперед, остановилась у скалы подле обнаженной породы и жестом мне велела опуститься на колени. Там, в расщелине, качался тоненький стебель с голубым цветком не больше корсетной пуговицы. Я поднял глаза, и Беатрис улыбалась, и улыбка была полна любви. Я протянул руку, сорвал цветок, а она качнула головою печально. Нет-нет, услышал я, но голос был ласковый, как вот у матери, утешающей ребенка. За мной капеллан читал: «…блаженны мертвые, умира-

---

[24] notes: 24
Книга Иова, 14, 1, 2.

ющие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих…»[25] Тут Беатрис оставила меня, и мертвецы были брошены в землю, чтоб начать разлагаться. Я разжал кулак, и ветер у меня отнял замятый в ладони голубой лоскуток. Я подумал про мистера Лайелла, про его гипотезу, что не только человеческой расе суждена погибель, но уничтожатся все следы ее пребывания на земле.

Потом, на обратном пути, Джордж осведомился, почему я вел себя так неучтиво. Сказал, что я неудачно выбрал момент для демонстрации своих познаний в геологии. Я не оборонялся.

Я скакал к Инкерману, уткнув подбородок в рубаху, и нюхал сам себя, чтобы согреться. Положим, человека мутит от вони, исходящей от других, но он может испытать истинное удовольствие от собственных испарений. Сквозь грязь, сквозь немытость мне чуялся смутный васильковый запах.

---

[25] notes: 25
Откровение Иоанна Богослова, 14, 13

Пластинка шестая. Ноябрь 1854 г
Улыбаемся, улыбаемся, братцы

Мы стоим на горе, над рекой Черной, напротив каких-то развалин. Поттер говорит — это очень древние камни. Все вспоминает, как в молодых годах посещал этот край, рассказывает про один монастырь, высеченный в скале. И на Средние века перескакивает, а это, как я понимаю, еще раньше было.

Кроме отрядов, оставленных для охраны нашей штаб-квартиры и французских батарей, все наше войско по выходе из Стрелецкой бухты, растянувшись линией на двадцать миль, идет вдоль севастопольских укреплений до самой до Сарандинакиной балки, наполовину накрывает гору Инкерман и петлей, по гребню Сапун-горы, сворачивает обратно, на юг.

Это я у Поттера выведал, он все пристает к капитану Фрамптону, тот ему рассказал. Мы, стало быть, торчим между дивизией сэра Ричарда Ингленда и бригадой генерала Буллера. Нашим братом из 21-го, под сэром Джорджем Кэтчкартом — мы покуда его в глаза не видели, — набьют, стало быть, траншеи. Случись лорду Раглану

просить подкрепления, чтоб оборонять этот Инкерман, — и нам туда шлепать аж две с половиной мили. Это я так говорю — нам, сам-то я пальцем не двину.

С нашего кряжа открывается вид на Почтовый шлях, он идет к Севастополю. Когда позволяет погода и если прищурюсь хорошенько, я различаю края гавани, истыканной корабельными мачтами, и полоску воды, Поттер ее называет «Ворота в Средиземноморье». Из-за этой-то мутной бреши, видно, и все страсти. Море и небо там сливаются в одну тусклую муть, не верится даже, что дальше где-то хоть что-то сверкает на солнце.

Поттер у нас теперь заделался прямо знатоком военной стратегии. Часами чертит в грязи стрелки — возможные ходы противника то есть. Джорджу это не нравится; как завидит его за подобной работой, притворится, будто никаких стрелок не замечает, и сапогом сотрет. На днях, после таких действий Джорджа, Поттер крикнул: «Сходства нет между нами, но конец нам уготован один!» Джордж ушел с бешеным лицом.

Каждое утро, чем свет, выходят два пикета — сменить тех, кто дежурил в ночь. Пикет набирают из целой роты, но потерь все больше, и часто бедолагам приходится торчать в траншее, в грязи

по сорок восемь часов. Обратно идут — кто еще в летних мундирах, светлых, сейчас они цветом как старая свекла, — еле волочат ноги, и лица старые, как смерть. Живых почти не отличишь от мертвых, только что тех несут на носилках.

День и ночь идет гуд, правда дальний. Я тут уже освоился. Уже не кидаюсь со страху бежать от серого горизонта, когда вдруг он полыхнет лиловым и расправит огненный хвост. Или дымная сказочная гора подрожит-подрожит, потом розовеет — и тает в нахмуренном небе. У меня на глазах загорелся карликовый дубок и потом пылал в темноте, прямо как неопалимая купина Моисея. Взрывом срывает скалы, и они, падая, сами перестраиваются в надгробные курганы.

Я собираюсь выжить. Я спрашивал у Поттера, и он говорит, что да, человек, если сосредоточится, может продержаться на силе воли. Я ведь не то, что иные-прочие представители моего класса, которые, как вышли из ничтожества, так, если и выберутся живьем из пекла, вернутся в ту же тьму забвенья, только и славы что покалеченные душой.

Я все обдумал. Я добиваюсь успеха в своем деле, женюсь на хорошей женщине, доброй, простой, и доживаю до старости, окруженный собственным

выводком. Мне сверхбогатства не надо, мне лишь бы было приличие. И никто из моих потомков, с Божьей помощью, не будет побираться ради куска хлеба, как мне приходилось.

В таких своих мыслях — и потом, фотограф мой ушел на постой куда-то за лагерь — я теперь сплю в фургоне, подальше от сырости. Между прочим, это мой собственный экипаж; не сам ли я его приобрел, когда хозяин Панча и Джуди помер и отправился к своему творцу; не я ли сообразил вставить замазанные окна и полки встроить; хотя насчет побелки снаружи это я зря погорячился, так он издали виден и навлекает огонь. Тут повернуться негде, и я в сумерки кой-какие препараты вышвыриваю наружу, что не понравится хозяину, если он сюрпризом нагрянет. Но я знаю, что я ему тогда скажу, я спрошу — он живого хочет ассистента или же мертвого, в палатках такие условия, что долго там не протянешь, быстренько дашь дуба. Припасы не доходят из-за постоянного заградительного огня русских орудий; одно одеяло на рыло, да и то так залубенело от грязи на взмоклой земле, что от него мало проку. Люди под этой заплесневелой покрышкой жмутся во сне друг к другу, чтоб согреться, пихаются, как поросята у мамкиных титек.

Поттер и Миртл вселились в походный лазарет, к Джорджу, хотя там теперь одно слово мясная лавка. Дня не проходит без своей порции раненых. Раз ночью за три часа внесли аж десятерых, подкошенных пушечными ядрами. Семеро уже потеряли кто руки, кто ноги, остальным пришлось ампутировать.

Сперва доктор Поттер выскакивал наружу, когда Джордж начинал свою пилку. Теперь остается, сидит у печи, притворяется, будто читает свою отсырелую книжку.

Ни за что нельзя угадать, кто выживет, а кто нет. У одного руки-ноги повыдерганы, кровь хлещет как из худого ведра, а он оклемается; а у другого мякоть затронута между ног, всего и делов, а он через двадцать четыре часа преставится. У кого нутро распахано, кишки болтаются, словно белесые свиные колбаски, у этих песенка спета. Тут уж никакая сила воли, никакая медицина не вылечит.

Недавно ночью принесли мальчонку-барабанщика. Годков ему не больше двенадцати, а его сунули в траншею, были большие потери. И вот он грязь разгребает, нагнулся, в правой руке — лопата, а ядро ему — сзади, прямиком между ног, вспороло артерию и член вырвало вместе

с мошонкой. Вдобавок сразу его вынести было нельзя, перевозка увязла в грязи. Положили его на стол, а он как рыбка на крючке — бьется, трепыхается. Миртл к нему даже не подошла. Поттер говорит, она такая нежная мать, а я так думаю — дети ей только на то и нужны, чтоб покрепче привязать Джорджа.

С ним ничего поделать нельзя было, с этим барабанщиком. Джордж мне велел готовить хлороформ. Я уж привык к такой своей помощи, рад оказать услугу. Когда видишь, что вот они засыпают, видишь, как разглаживаются у них лица, у самого не так сводит живот. Я держал тампон у мальчонкина лица, так долго держал, чтоб он никогда не проснулся, по крайней мере на этом свете. У хлороформа фруктовый запах, чуть отдает клубникой, и это приятно: мы все провоняли, Поттер особенно.

Я напомнил Джорджу про тот раз, когда Уильям Риммер мне велел войти в клетку к обезьяне, а сам Джордж по дороге домой в Ежевичный проулок был пьян как сапожник. Странная штука память: он спорил, что напился тогда я, недаром, мол, я так растянулся на песке, пока он беседовал с рыбаком у костра. Ему пришлось не по вкусу, что я помянул Риммера, я сразу заметил; у него

так задергались веки.

Мне стало обидно, и я сказал:

— Риммер здорово тогда хорохорился. Хотел присвоить себе весь успех.

Джордж сказал:

— Я не обладаю твоей выдающейся памятью, — и спиной ко мне повернулся.

Я хотел обсудить с Поттером, что это означает, когда события вспоминают по-разному. Он сказал — ему не до того, хватает собственных затмений и не волнуют чужие. Он часто разговаривает с женой, с Беатрис, Джордж даже тревожится. Боится, как бы Поттер не спятил. Я никаких таких признаков не улавливаю, и вообще, при наших обстоятельствах, по мне — стоит отвлечься от окружающего любой хитростью, почему же, если так сберегаются нервы. Я вот все думаю, кого мне бы вызвать, когда припечет, а никого нет. Материно лицо давным-давно начисто стерлось из памяти.

Когда мальчонку-барабанщика уложили, Поттер стал вслух бормотать по своей книжке. Я последую его примеру — когда состарюсь, тоже возьмусь за чтение. Между прочим, сам он как-то сказал, что я чуть ли не ученый, мол, действие камеры в некотором роде способствует тому,

чтобы поймать тайну человеческого поведения.

Когда стали барабанщика хоронить, я снял с него обмундирование и потом приступился к Миртл, чтоб его надела. Одежка на ней жиденькая, не по зиме, да и обтрепалась. Она отказалась наотрез, но я на нее напустил Джорджа, и теперь она щеголяет в мундире и брюках. Их даже стирать не пришлось, кровь всю смыло дождем. Заплатка понадобилась, всего и делов — лоскут от красной нижней юбки, — прикрыть в брюках дыры. Она в этой униформе хороша, я бы сделал с нее портрет, да только льет все время, забрызгает пластинку.

По ночам, в передышках между пилкой и зашиванием, мы жмемся вокруг печки. Обыкновенно впятером. Я завел себе друга, он уже пожилой, зовут его Чарльз Уайт. Родом он из Ирландии и такой добродушный. Вышел из нищеты, нажил состояние кирпичным заводом, потом лопнул банк, и он разорился. Жена с непривычки к нужде скоро угасла и лежит теперь в общей могиле. А сам он, покуда не объявили войну и он добровольно пошел воевать, сидел заточенный в долговой яме. Несмотря на такую свою судьбу, он веселый, без конца балагурит. Рыжие усы, походка вразвалочку. Джорджу он понравился, он даже

ему подлечил распухлые от кандалов лодыжки.

Как раз Уайт нас тешил одной своей побаской, и вдруг вваливается солдат с оторванным ухом. Кровищи была уйма, но он не давался Джорджу. По очереди нам пожал руки и все говорит, говорит, как он рад познакомиться. Гарри Сент-Клер, Сент-Клер, все повторяет и повторяет, будто в этом его имени какая-то особенная ценность заложена. А потом говорит, мол, потеря уха — самая большая удача, какая с ним в жизни случилась. Уайт подумал — он размечтался, что теперь его домой отошлют, и заверил его, что двух дней не пройдет, он как миленький будет в строю, а бедолага на это: «Дивно, дивно!» — и только снова всем руки пожимает, пожимает, а кровь тем временем хлещет во все стороны.

История его была чудная, но, человек тонкого воспитания, он ее хорошо рассказал. Несколько месяцев тому назад, покамест он не может в точности сказать сколько именно, он состоял учеником одной замечательной школы на юге Англии. Он запомнил — было синее небо, школьная кошка кралась между кустов — он обиделся на товарища, который непозволительным тоном говорил о его матери, вдовой женщине, которая недавно свела дружбу с одним знатным господи-

ном. Стремясь защитить честь своей матери, он вызвал обидчика драться на кулачках под каштанами на краю гимнастического поля. Для него это кончилось плохо. В голове осталось только: кошка, луч солнца подрагивает на полосатом мехе; и темнеют от собственного пота волоски у него на руке. А потом — одна кромешная тьма.

Неделю спустя он вдруг очутился в армии, на судне, державшем курс на Мальту. И — ни малейшего понятия, кто он и откуда. Надо фамилию называть, а он не знает, и тогда его записали: рядовой Данныхнет. Тут Чарльз Уайт так грохнул, что аж закашлялся.

Час тому назад его пикет возвращался с дежурства, в хвост колонны угодило ядро, и осколком Данныхнету оторвало ухо. И в тот же самый миг — он нырнул в воздух, как в воду, — он вспомнил свое имя, свою прежнюю жизнь. Он кричал: «Я — Гарри Сент-Клер!» — и все сообщал, сообщал нам об этом открытии и добавлял: «Я счастливейший человек на земле».

Вдруг лицо у него побелело. Снаружи, будто птицы били крыльями, плоско хлопали пушки. Он уставился вдаль, глаза стали огромные. И — упал замертво. Джордж сказал — это из-за перенапряжения и еще от потери крови.

Миртл сидела как в воду опущенная. Широко разбросала колени, подняла локти и колотила, колотила по воздуху невидимыми палочками, будто бы вернулся по свою душу мальчонка-барабанщик. Поттер извивался на табурете и зажимал себе уши.

Мы с Уайтом вдвоем взвалили Данныхнета на плечи и выволокли наружу. Мертвые сапоги, чавкая, загребали грязь. Вдруг темнота расселась от страшного взрыва, хилый свет озарил на миг жестяной блеск реки внизу, взмоклые скаты. Мир затопляло.

Я не стал возвращаться к Джорджу. Залез в фургон и отдал должное болгарскому вину из припасов фотографа.

Проснулся я рано, с перепоя во рту пересохло. Смутно помнилось, что якшался с одним капралом из 55-го, у которого на шее чирей. Он хотел выменять на часы чемодан из воловьей кожи. Часы исчезли, не было никаких признаков чемодана, и жажда мести разом вывела меня из столбняка. Есть у меня кой-какие трофеи с обобранных трупов, я их заворачиваю в тряпицу и сую за поддоны для проявки. Совесть моя чиста. Неприятель после боя обчищает убитых, так что я оказываю услугу нашим покойникам, не отдавая

их имущество в руки врага.

Я шагнул вниз, в густой, как шерсть, туман. Уже началась обычная утренняя суета, слышалось тявканье команд, конское ржанье, а не видно ни зги. Протянешь руку, растопыришь пальцы — и они пропадают. Туман меня обложил белой ватой, и сквозь эту вату я слышал важный колокольный звон. Я сообразил, что звук плывет из Севастополя и, стало быть, какой-то там у них праздник или сегодня воскресенье. Кое-как я сделал несколько шагов и наткнулся на что-то грузное, рыхлое и рядом призрак огня. Это Поттер, кутаясь в свою шинель, ждал у костра, когда закипит вода в котелке. Я тронул его за плечо и говорю:

— Послушайте только, какие колокола.

А он мне:

— Вы тоже слышите? Я думал, они у меня в голове. Мне снился день моей свадьбы. У Беатрис на фате было пятнышко сажи…

— Господи, — я говорю. — Надо думать, она вас очень за это благодарила.

— Колокола ли вызвали сон, — он стал рассуждать, — или сон уже начался и я только присоединил к нему этот звук?

Я сказал, что, пожалуй, оставлю его вопрос без

ответа.

— Я полагаю, вы никогда не были женаты, — он говорит. — Такие не женятся.

Я ему сказал, что он верно полагает, да только у меня была одна вдовая женщина, два года целых, покуда так не спилась, что у меня всякое желанье пропало.

— Вы меня удивляете, — он говорит.

— Я сам себя удивляю, — ответил я и спросил про Миртл.

— Она долго плакала, но потом уснула и теперь снова станет, надеюсь, нашей старой Миртл.

— Ну уж и старой, — я его поправил.

Он сказал, что это я верно заметил, и смолк. Я решил, что нашему разговору конец, но тут он вдруг спрашивает:

— Что такого сделал Джордж в то далекое время… что она его полюбила?

— Сделал? — я говорю. Я даже сконфузился; любовь не из тех, по-моему, слов, какими можно кидаться. Я сказал — это пусть он у Джорджа спрашивает, а не у меня.

— Он и не вспомнит, — Поттер говорит. — Он не похож на человека, которым властвуют чувства.

Тут я вдруг подумал — э, да не такой-то он умный, как я его считал; или же эти древние

книги совсем его защемили между страницами. Я знаю мужчин, и я понял, что Джордж почувствительней многих. Плачет, как женщина, чуть вспомнит свою маменьку.

Я сказал:

— Может, он ей открыл, откуда она взялась.

— Неужели этого довольно?

И голос такой недоверчивый. И лицо то вынырнет, то снова уйдет в туман.

— А чего же еще? — я говорю. — Невредно знать о своем начале.

— Можно призадуматься и о вещах более насущных, — он пробормотал, — о своем конце, например.

Но тут вода закипела, и он стал заваривать чай. Мы его пили под топот сапог: утренний отряд уже вышел на добычу воды и топлива. Совсем рядом начала прудить лошадь, затрусила прочь, и плеск затихал понемногу.

— Бывает такое время, когда следует рассказать правду, — вдруг объявил Поттер зловеще. — Вы с этим согласны, Помпи Джонс?

— Какая правда смотря? — я его спрашиваю. Тут лицо его снова исчезло.

— В данном случае, — он говорит, — я имею в виду картины.

Я думал — это он про фотографии, и прямо сказал, что тут мы друг друга не поймем.

— Кое-какие фотографии, — честно ему объясняю, — обычного человека могут только выбить из колеи.

Я думал про снимки смертельных ранений, которые мы делали для медицинского колледжа.

— Я разумел, — он говорит, — вид судов на Мерси с холма, где стоит теперь «Вашингтон».

Тут я совершенно опешил. Может, Джордж в конце концов был и прав, когда посчитал, что Поттер сходит сума.

— Как вы помните, полагаю, он висел на стене в кабинете, — продолжал он. — И был перевешен за несколько недель до того, как вам отказали от дома.

Да, мне запретили бывать в Ежевичном проулке, что правда, то правда, хоть это не помешало Джорджу со мной видаться. Как-то вечером он послал мне на дом записку, просил с ним встретиться у северного входа «Вашингтона». Я совсем было собрался, но когда спускался под гору, увидел, как над рекой желтыми клубьями перекатывается пламя. Когда дошел до таможни, пылающие корабельные паруса воздушными змеями метались по багряной воде и невозможно

стало дышать. Сколько уж времени прошло, а как сейчас помню тот вой огня, когда он взвивался к звездам. А потом рухнул табачный склад, павлиньим хвостом распушились искры, и толпа вся весело охнула. Пожар пожаром, но не только это помешало моему свиданью с Джорджем; он мне назначил встречу у черного хода, а не у парадной лестницы — вот что жгло. Мне надоело, что меня стесняются, прячут, пора было с этим покончить. Наутро он ждал меня на нашей улице, у водокачки. Подарил старый аппарат, и я его в тот же день сбыл за шестнадцать шиллингов, у меня свой был, получше.

Поттер сказал:

— Изначально он висел над бюро. Вы помните, верно, — под ним стояла такая ваза с вытянутой шейкой. А потом вдруг обнаружилось, что он криво висит на стене справа от двери. — Я оторопел, я ни звука не мог из себя выдавить. — Две ночи я не ложился… в усилиях разрешить эту загадку. Я тогда еще не привык ходить ночами без сна. В сопоставлении с прочим это не так уж и важно, однако я был бы весьма признателен за объяснение.

— Ничем не могу вам помочь, — сказал я и ушел.

Забился в фургон и стал приводить в порядок полки на случай, если вдруг нагрянет фотограф. Насчет стеклянных пластинок и позитивов у меня всегда полный порядок, но бутылки валялись кое-как и были недомыты поддоны. Ворюга, который ошивался тут накануне, расхлестал свое пойло на верстак. Я поприличней уложил препараты и стал проверять камеры; их было три: одна для портретов, с трехдюймовой линзой Росса[26], а две на мехах и изготовлены Буркеном в Париже.

Два снимка были от начала и до конца моя работа и, на мой взгляд, отличные образцы фотографического искусства. Первый — это ампутированные конечности; на белом фоне разложены — просто картина.

Особенно я остался доволен пучком травы, зажатой в кулаке. На втором была похоронная церемония на недавно оставленной местности. Я высвободил пластинку из вощаной обкладки — проверить, не потускнело ли изображение. Нет, все четко, белые ризы капеллана и свивальники мертвецов резко выделены против камней. Разве что в левом углу было легкое помутнение, но почти незаметное.

---

[26] notes: 26

Лорд Уильям Парсонс Росс (1800–1867) — английский ученый и изобретатель.

Но потом, пока я смотрел, оно стало заметно и понемногу приняло образ женщины. И чем больше я вглядывался, тем больше она прояснялась, так что я наконец не мог даже понять, как сразу ее не углядел. И я удивлялся: женщин фотографировать не полагалось, разве что леди, а их у нас не было; вдобавок считалось, что никому на родине не захочется увидеть слабый пол в таких мрачных условиях. Да что говорить, определенно только три женщины присутствовали на похоронах, одна из них Миртл, и все три стояли позади камеры.

На снимке женщина была дородная, ну вот именно дама; очень ясно виднелись ленты чепца, и она подняла руку, то ли махала, то ли подзывала кого-то.

Я стою, ничего не понимаю, стараюсь разобраться, и тут снаружи поднялся невообразимый шум. Я отворил дверь, и рев команд, вой труб хлынули внутрь вместе с туманом. Кто-то кликнул меня, я высунулся и увидел в тумане мальчишку. Он подошел поближе, я узнал Миртл.

— Или случилось что? — спрашиваю.

А она:

— Джордж тебя зовет. Пришел приказ выступать.

Я хотел ее затащить в фургон, чтоб не стояла на дороге у невидимых лошадей и солдат, собиравшихся в боевую готовность. Она уперлась, сказала, что ей это слишком напомнит старого мистера Харди. Я подумал: э, да тебе кое-что другое тошно вспоминать, как когда-то возомнила, например, что Джордж ради тебя всех покинет, — и я спрыгнул в крутящийся день и пошел за ней к лазарету.

Там был Поттер, помогал грузить медицину на лазаретные повозки, а было их всего две, одна — простая арба. Говорили, князь Меншиков внезапно атаковал Вторую дивизию и от нас ждут подкрепления. Те колокола поутру звонили, чтоб вдохновить русские батальоны при выступлении из Севастополя. У неприятеля, говорили, сила несметная. Кто говорил — четыре тысячи выступили, кто — даже больше.

Джордж тут же на меня накинулся, сыпал приказы, велел пошевеливаться. Это мне совсем не понравилось. Я здесь присутствовал как гражданское лицо, я не желал и был не обязан соваться под пули. Сам с собой я решил, что пройду с ним немного, потом поверну обратно, а там уж все свалю на туман.

Оказалось, возница только один, музыкант из

оркестра, так что решили его приберечь для санитарной кибитки, а сам Джордж решил верхом отправиться вперед, искать место для полевого госпиталя. Повелительным жестом он мне указал на арбу — от Поттера в этих делах мало проку, — плюхнул к себе на седло мешок с инструментами и ускакал, я и вякнуть не успел.

Не сразу мы выбрались — из-за этой толчеи и тумана. Когда наконец все было готово, Миртл села ко мне. Поттер никак не мог найти свою лошадь; он привесил сзади к арбе фонарь и сказал, что пойдет следом. Уже слышалась перекатная пальба пушек — чужих и наших, и — ближе — по холмам над лощиной стрекотали мушкеты.

Продвигались мы медленно, валко. Уложенные пикетами доски содрали все почти на костры, а которые остались, давно потонули в грязи. Деревянные колеса арбы то и дело вязли в густом дубовом подлеске. Иногда туман редел и делались видны в сером свете серые, скользящие и оскользающиеся колонны.

Миртл вся тряслась. Я сказал ей: не бойся, а она огрызнулась, мол, не от страха дрожит, а от холода. То и дело она кликала для проверки Поттера, и примерно час мы слышали в ответ его крик. Потом уж не откликался, назад повернул, надо

думать, или же заплутал.

То и дело Миртл понукала меня и сама опасно тянулась вперед и молотила слабеньким кулачком по заду спотыкающуюся кобылу, будто та могла, бедолага, ускорить шаг. Миртл взялась отыскать Джорджа. Я и сам был не против, я уже понимал, что ужас, который нас ждет впереди, все же лучше, чем то, что мы оставляли; по крайней мере, я не буду один.

Я пробовал было сделать из этого приключение, воображал, будто снова я малолетка, снова крадусь по оврагу, норовлю выследить зайца, но свист, треск и орудийный гром разгоняли черных ворон того лета.

Раз, когда из-за тумана над горизонтом вдруг встал фонтан огня, я нарочно вспомнил красный закат, и он растекался над горбатым мостком, и на месте дымных кровавых плевков по скатам мне мстились дрожащие над водой миртовые листы.

Я совсем забылся, но тут совсем рядом, справа в кустах, затрещало, и оттуда треугольником выскочили люди — в шинелях, меховые кивера, ружья наперевес, примкнуты штыки.

И такой поднялся вой, что у меня глаза на лоб полезли. Ну, думаю, все, мне крышка, тем более

этот кошачий концерт шел под свист и жужжанье пуль. Арба катила дальше, наша кобыла тянула из последних силенок, мечтая уйти от грохота.

Это кончилось, не прошло и минуты — мы выскочили из переделки целехонькие, все вдруг разом стихло, будто захлопнули дверь. Впору подумать, что я видел сон, если б кругом не валялись трупы. Я оглянулся и вижу: наш стрелок сидит торчком в грязи, глаза выпучены, макушка срезана, как у яйца за завтраком. За ним стоял русский и держал на отлете пистолет: метил мне в сердце. Уже палец был на курке, но тут арба наклонилась, опрокинулась, и меня бросило в кусты. Чудом Миртл упала рядом со мною.

Так, мне показалось, прошла целая вечность, потом я поднял голову, глянул через густые ветки. Стрелок, который сидел, теперь повалился навзничь, русского не было. И снова пошла пальба, треск, вой — только дальше. Я зажмурился, но видел сполохи сквозь плотно сжатые веки.

Я вытянулся, прижал к себе Миртл. Она приникла ко мне, тихая, как мышка. Шапка слезла, липкие от грязи волосы щекотали мою щеку. Войти в нее мне не удалось. Дала мне погладить лобок, но вздыбилась, едва я попробовал себе чуть побольше позволить. Да я и не больно наста-

ивал, эка важность. Мне всего-то и надо было — в отношении Миртл, — чтоб она признала, что мы с ней одного поля ягоды, раз уж судьба нас обоих кинула на дорожку к мастеру Джорджи.

Скоро я встал и ее подтянул. Над головами у нас кружили сороки. Туман почти разошелся, сыпала морось. Кобыла лежала на боку, прижатая по кострецу арбой. Была живая еще, хоть, видно, обе задние ноги переломаны. Я расслабил пальцы у мертвого стрелка, вытащил ружье. Приставил дуло к лошадиному лбу, Миртл отвернулась. Ружье дало осечку: отсырел порох. Я обыскал других мертвяков, напал на револьвер и, не волыня, покончил с кобылой. Ружье я тоже оставил себе, штык был на месте; а в рукопашной, я так подумал, сталь даже превосходней свинца.

Вокруг арбы валялось с десяток, а то больше русских. Я отпахнул было у одного полу глянуть, нет ли какой поживы, но Миртл на меня уставилась, пришлось совсем стянуть с него шинель. Я стал рыться в складках, повеяло кожей, уютно, по-домашнему, потом. Содрал с ремня металлическую флягу, одним глотком опрокинул водку, его дневной рацион. Впервые за день кровь живей побежала по жилам. Я бы и кивер прихватил, да побоялся, как бы не обознались свои.

Что делать дальше — вот главная была задачка. Русские, как я понимал, перли и спереди и сзади. С кряжа в миле от нас гремели пушки, стрекотали мушкеты. За кряжем ничего не было видно, только горело клочьями небо. Снизу катил и катил туман, застлал дорогу, линию скал. За невидной рекой круто всплывали из мглы утесы и отвесно парили к развалинам Инкермана.

Миртл живо задачку решила. Она сказала:

— Я пойду. Надо найти Джорджа.

Я сказал:

— Только едва ли ты его сыщешь.

Она упрямо трясла головой:

— Найду… Непременно найду.

— Может, он мертвый уже, — я сказал.

Тут она вся как затрясется.

— Он жив, — еле выдавила. — Я знаю, он жив.

Грязь струпьями высохла у нее на лице, кожа сделалась как у мертвеца, но глаза горели словно какой-то жаждой.

Страшноватая это была прогулочка, мы без конца натыкались на трупы, на куски человеческого мяса. Раненые кони стояли свесив головы, и кровь хлестала у них из кишок. Я бы применил револьвер, но чувствовал, что это зряшная трата боеприпасов. Раз мы услышали стон, бросились

на него и видим: пожилой дяденька в форме стрелковой бригады лежит навзничь, руки сцепил, как на молитве, и еще держатся на носу очки. И ни царапинки, только в очках правое стекло расколото в паутину. Он опять застонал, я встал на колени, поднял ему голову, и в тот же миг из горла у него вырвался смертный хрип. Я отдернул руку, она была вся от крови липкая. Обтер пальцы о его брючину и поскорей пошел дальше.

Миртл я оставил в осадном лагере за лощиной. Я бы и сам к ней пристроился под шумок, но явился какой-то офицер, по ружью и шинели принял меня за солдата и велел, пополнив боеприпасы, следовать на новый редут. Я знать не знал, где это такое, но от водки стал покладистей. Дело шло к полудню, так я понимал; а я ничего не жевал со вчерашнего вечера, да и тогда ломоть хлеба один, заплесневелый от сырости.

Я влился в колонну Четвертой дивизии, шагал за милую душу и смотрел на взрывы огня, рвущие пыльное небо, с дурацкой ухмылкой на лице.

Мы прошлепали в восточном направлении к каменному уступу, окруженному стеной футов в десять, подпертой рваными мешками с песком. Сооружали все это в надеждах втащить тяжелые пушки, но площадка осталась пустая. Почему

занадобилось оборонять именно это никчемное место, нам никто не объяснял. Когда лезли по овечьим тропам, нас подбадривал свист ядер с русских батарей, так что мы метались и петляли как зайцы.

Русские ждать себя не заставили, наскочили, вынырнули из тумана, точь-в-точь — мы, как в зеркале, глаза выпучены от страха, кивера ощетинены, как кустарник. Завязалась рукопашная — вот когда сгодился мой штык. Только от первого тычка в мясо и мышцы меня чуть не вырвало, а потом — ей-богу, ужас ушел по стали — выпускать человеку кишки показалось самым обычным делом. На лица я не смотрел, в перепуганные глаза, я пониже смотрел, на одежку, прикрывавшую беззащитные внутренности от моих смертельных уколов.

Я видел такое: сошлись один на один наш офицер из Двадцать первого и тоже офицер, русский. Дрались на саблях, кружили друг против друга раскорякой, как обезьяны. А солдаты, те и другие, стали в кружок, науськивали, подбадривали, крепко ругались.

Я смотрел из-за спин на этот танец смерти. Когда оба рухнули, пронзенные насмерть, кружок сразу рассыпался под зверский крик.

Я занялся мальцом с болячкой на губе. Он весь одеревенел от ужаса, только махал на меня штыком, как пчелу отгонял. Что-то пролопотал по-своему, я ответил: прошу прощенья, не понял. Пожалел его было, да он сам хлыстнул меня по лбу, тут уж я вскипел и проткнул ему глотку. Он упал, хрипя свои упреки.

Я не знал, какое такое дело отстаиваю и почему так нужно убивать, хотя Поттер — тот бы, конечно, мне все объяснил.

Была страшная бойня. Люди мерли в позах тех статуй в теплице у мистера Бланделла. Я видел: лошадь упала на грудь, а всадник вытянул руку, будто реку вброд переходит. Видел: двое стоят на коленях, смотрят глаза в глаза и не падают — держатся на руках, упертых, как в ладушках. У стены гренадер стоя обнимал штык, его пришпиливший, как бабочку, к приставной лестнице.

Потом в нас врезался офицер на коне, приказал отступить с батареи, защищать полковое знамя. Я сам себя спрашивал, какая такая нужда поспешать на выручку к рваному куску шелка, но все сделал как велено. Я стал цирковой зверушкой, я и через обруч бы прыгнул, если прикажут. Мы бежали вниз по скату, и пороховой дым клубился вокруг, будто кипел невозможно громадный

чайник.

Нам надо было проскочить мимо бедолаг, окруживших это самое знамя, и с тыла атаковать противника. Кто расстрелял все патроны, поостáвлял в мясе штыки, те ревели как оглашенные и швырялись камнями. Подползло неприятельское подкрепление, и нас обстреляли сзади.

Невозможно сказать, сколько все это длилось; время стояло как проклятое. Вдруг в какой-то миг я глянул вниз, на проход среди трупов, и, ей-богу, увидел Поттера, он спокойно, вразвалочку шел на меня. Выпущенное из тяжелой пушки ядро сзади скакало за ним, как камушек по воде. Я открыл рот — крикнуть, его остеречь, но в ту самую секунду, когда вот бы оно доскакало и разорвало б его в клочья, он прянул в сторону, будто кто его толкнул; ядро пронеслось дальше и снесло голову шедшему впереди солдату. Нет, видно, это ангел хранил Поттера.

Я был все еще живой, когда это кончилось. Русские отошли за холмы, побросав неубранными убитых и раненых. Прекращение огня по-разному подействовало на уцелевших. Кто лег наземь и спал, кто щипал себя за лицо и бродил как во сне. Сам я весь трясся, и ноги мои подкашивались. Тишина — вот что особенно мучило.

Джорджа я нашел два часа спустя, он исполнял свои обязанности возле каменоломни. Тут же была и Миртл. Он наклонился над кем-то с дырой в груди. Я тронул его за руку, он глянул, не узнал, но мы и все-то были на себя не похожи, я его тоже узнал только по кровавому фартуку. Он пощупал разрез у меня на лбу, сказал: «Простая царапина. Проходите». Но тут я его назвал по имени, он вскочил. И — в первый и последний раз в жизни — он обнял меня.

Я помогал копать рвы, чтоб хоронить убитых. Кто лежал — мы тащили за ноги. Кто сидел — хватали под руки, у кого руки были. Нашли шестерых — свои, чужие, сплелись в одно, и штыки подрагивали, как венок из стальных колосьев.

Джорджа подозвали к одному офицеру, у того оторвало обе ноги, и обрубки сунули в бочку с порохом, чтоб унять кровотеченье. Меня послали за носилками, мы его уложили, бочку и все, и понесли к операционному столу. Джордж шел впереди. Миртл — сзади, она всегда так ходила.

Нам всего-то осталось метров двадцать, и тут Миртл окликнула Джорджа. Потом она говорила, что поранила ногу о камень. Он стал, повернулся, держа носилки. Сзади раненый русский, опершись на мешки с песком, поднял мушкет и

пальнул. Джордж выпустил носилки, бочка покатилась, взметнулись серые клубы пороха. Он на меня смотрел большими от удивленья глазами.

— Ты хороший мальчик, — он сказал, или так мне послышалось; и он упал.

Поттер был в лазарете, когда мы пришли в лагерь. Сказал, что он здесь уже с утра, из-за тумана ему заложило грудь. Вернулся фотограф, готовил пластинки. Мне надо было спешить, свет убывал.

Я сказал:

— Джордж убит.

— У вас на лбу порез, — он ответил, вырвал несколько листков из книги, какую держал на коленях, и сунул в печку.

Миртл была снаружи, с сухими глазами, она баюкала Джорджа. Что-то ему напевала.

Я пошел обратно к фургону, фотограф стоял с треногой, перед ним сгорбясь сидели пятеро.

— Нам что требуется? — объяснял он. — Группа уцелевших для показа родным.

Сощурился, заглянув в аппарат, и крикнул:

— Равновесия нет. Мне бы еще солдатика. Одного доставьте.

Я пошел к Джорджу. Миртл ушла, он лежал в грязи, один. Я взвалил Джорджа на закорки,

понес. Солдаты уже стояли, я его воткнул между ними. Он качнулся вперед, и тот солдат, что справа, обхватил его и поддержал.

— Улыбаемся, улыбаемся, братцы, — велел фотограф.

Сзади, на бровке, я видел Миртл, она широко раскинула руки и кружила, кружила, как птица над разоренным гнездом.